

Пьесы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!

Пьесы. Антон Павлович Чехов

Драмы настроений Чехова

Творческая биография Чехова-драматурга открывается «Ивановым». Эту пьесу Чехов написал «нечаянно»: «Лег спать, надумал тему и написал». Случилось это в конце сентября – начале октября 1887 года. И в том же году состоялось первое представление «Иванова».

Творческая же биография Чехова, создателя «нового вида драматического искусства» (М. Горький), начинается с «Чайки». В Александринском театре, в Петербурге, она «шлепнулась и провалилась с треском», – сообщил Чехов брату сразу после ее премьеры, состоявшейся 17 октября 1896 года. Поставленная же на сцене Московского Художественно-общедоступного театра (так назывался в ту пору МХАТ) в сезон 1898/99 года К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, она возвестила о появлении в русской литературе нового драматурга, крупного и оригинального.

С нарастающим от спектакля к спектаклю успехом шла в Художественном театре и пьеса «Дядя Ваня», показанная в 1899 году. Популярность ее была так велика, что на одно из представлений пришел Лев Толстой, почти не посещавший в те годы театров.

Триумфальной для драматурга и театра стала и премьера «Трех сестер», состоявшаяся в январе 1901 года. Немирович-Данченко послал Чехову телеграмму: «Первый акт громадные вызовы, энтузиазм, 10 раз... После окончания вызовы превратились в настоящую овацию...»

Восторженно встретили спектакль и в Петербурге, куда Художественный театр выехал в тот же театральный сезон на гастроли. Горький, побывав на петербургской премьере, писал автору: «А «Три сестры» идут – изумительно! Лучше «Дяди Вани». Музыка, не игра».

17 января 1904 года Художественный театр раздвинул занавес, чтобы показать московскому зрителю последнюю пьесу Чехова – «Вишневый сад». Премьера совпала с пребыванием писателя в Москве, с днем его рождения и именин, и мхатовцы устроили торжественное чествование своего любимого драматурга.

Грандиозный успех мхатовских спектаклей по чеховским пьесам был подготовлен проникновенным режиссерским прочтением этих пьес. И Станиславский конечно же обобщал прежде всего свой опыт работы над драматургией Чехова, когда писал: «Необходимо пойти за автором по проложенному им пути для того, чтоб не только понять, но и пережить задачи и намерения поэта... Пусть анализ разложит пьесу на ее составные части, то есть вскроет канву, на которой вышита картина, и ясно определит конечную цель... пусть литературный анализ указывает нам основные места, в которых узлом завязаны нервы, питающие пьесу (здесь и далее разрядка наша. – В. Б.).»

Каким же путем, угаданным Станиславским и Немировичем-Данченко, шел в драматургии Чехов? Какими были те узлы, те конфликты, которые питали сценическое действие в его пьесах, наполняли их глубоким социально-нравственным и философским смыслом, поднимали изображение действительности до «одухотворенного символа» (М. Горький)?

\* \* \*

Свою образную жизнь драматическое произведение обретает на сцене. Как известно, драмой и называется такой вид литературы, который создается для ее сценического воплощения. И сам Чехов предпочитал судить о «сценических красотах» той или иной пьесы, только вернувшись из театра. Он не считал пьесу готовой для публикации, если она «еще не была исправлена на репетициях».

Так, приступив к работе над «Тремя сестрами» – по настоятельной просьбе Немировича-Данченко он написал драму специально для МХАТа, – Чехов уже в августе 1900 года сообщал из Ялты, что «написал много». В октябре «Трех сестер» прочитала труппа театра. Но Чехов продолжал работу над пьесой, над совершенствованием ее текста, не только после предварительной читки, но и по

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

ходу репетиций, которые начались в театре в январе 1901 года, и даже в Ницце, куда он уехал из-за ухудшения здоровья, так и не дождавшись генеральной репетиции.

Но вот парадокс: признавая законы сцены, Чехов во всех своих пьесах нарушал, причем осознанно, намеренно, многие из них, освященные современной ему эстетикой и теорией литературы в качестве обязательных, незыблемых!

Задумав «Чайку», Чехов извещает одного из своих корреспондентов: «Я напишу что-нибудь странное». И, приступив к работе над пьесой, разъясняет ему же: «Пишу ее не без удовольствия, хотя страшно вру против условий сцены... много разговоров о литературе, мало действия, пять пудов любви». И, завершив работу: «Вышла повесть».

Закончив «Трех сестер», Чехов сообщает Горькому:

«Можете себе представить, написал пьесу... Ужасно трудно было писать... Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец».

И в этом Чехов тоже «врал» против сценических условий, по которым действие развертывалось вокруг одного, центрального, героя и его основного антипода, драматургического противника. В чеховской пьесе главных героев – три. Кто же их антипод? Наташа? Но разве это она убивает мечту трех сестер – уехать в Москву?...

И вполне понятно, что современная Чехову критика обратила преимущественное внимание лишь на то, чего нет в его драматургии сравнительно с пьесами предшественников. Нужно было пройти времени, нужно было появиться Художественному театру, чтобы от выявления этих «нет» прийти к открытию драматургического своеобразия и новаторства Чехова.

Дочеховская драма строилась вокруг какой-либо одной интриги, вокруг одного конфликта, создаваемого устремленностью героев к противоположным целям. Логика развития конфликта подчиняла себе поведение героев, что и создавало единство действия, «сквозного» для пьесы и спектакля. Гоголь, определяя основное условие целостности драматического произведения, писал: «Завязка должна обнимать все лица, а не одно или два, коснуться того, что волнует, более или менее, всех действующих». Можно предположить, что, будь, к примеру, «Вишневый сад» построен по классическим драматургическим канонам, такой завязкой, «обнимающей» все лица, стала бы продажа имения Раневской и Гаева: его судьба действительно «волнует» и самих владельцев, и Лопухина, и Трофимова, и старых слуг Раневской.

Но у Чехова в пьесах не одна интрига.

В «Иванове», кроме любовного треугольника: Иванов, его жена и влюбленная в него Саша, – есть еще несколько интриг. Главного героя неотступно преследует Львов, который вызывает его в конце концов на дуэль; от Иванова с жадным нетерпением ждет процентов по долгам Зинаида Савишна, а кроме того, в пьесе, пусть и пунктиром, прочерчена еще одна любовная линия: Боркин, управляющий имением Иванова, склоняет его дядю, графа Шабельского, жениться на молодой богатой вдове Бабакиной.

Несколько интриг и в «Дяде Ване», и в «Трех сестрах». Так, появление в доме Прозоровых чуждой всем Наташи приводит к зарождению конфликта, но только между ней и сестрами. Драматичны любовные отношения между Ириной и бароном Тузенбахом и особенно между Машей и подполковником Вершининым, но и они, говоря словами Гоголя, тоже не входят в «дело». Только Тузенбаха коснулись выходки Соленого. Предметом приглушенных разговоров остается пошлая интрижка между Наташей и Протопоповым.

Интриг в пьесе «Три сестры» намечено несколько, а привычного сквозного конфликта, возникающего из «сшибки» характеров и создающего единство действия, – нет. И многие рецензенты поспешили вынести безапелляционный приговор об «отсутствии действия» в «Трех сестрах».

Пьесе «Дядя Ваня» Чехов дал такое жанровое определение в подзаголовке: «Сцены из деревенской жизни». Такими сценами, довольно самостоятельными и сюжетно между собой слабо связанными, воспринимались и четыре действия «Трех сестер». Не укладывается в драматургические каноны и «Вишневый сад»: здесь и мотив продажи

имения, и мечты Пети Трофимова и Ани о прекрасной жизни, и надежды Вари на предложение Лопахина, и восторженно-любовное отношение Лопахина к Раневской, и поиски Гаевым престижной службы, и переживания горничной Дуняши, влюбленной в наглого лакея...

В дочеховской драме действующие лица довольно четко делились на «злодеев» и «жертв», судьба которых в конечном счете определялась намерениями и поступками «злодеев». Катерина – жертва Кабанихи и Дикого, бесприданница Лариса – Паратова и своей корыстолюбивой матери.

А Чехов оригинальность своего «Иванова» видел в том, что «не вывел ни одного злодея, ни одного ангела (хотя не сумел воздержаться от шутов), никого не обвинил, никого не оправдал».

Львов обличает Иванова в «бездушном эгоизме», в «бессердечии», он ненавидит его, считает Тартюфом. И все эти обвинения он бросает в глаза Иванову. Но вместо ожидаемой «сшибки» – примирительные признания Иванова: «... вы, доктор, не любите меня и не скрываете этого. Это делает честь вашему сердцу». Шабельский предупреждает Иванова: «Того и гляди, из чувства долга (Львов. – В. Б.) по рылу хватит или подлеца пустит». А тот отвечает снисходительно: «Он меня ужасно утомил, но все-таки мне симпатичен: в нем много искренности».

Своим «злодеем» Войницкий считает профессора Серебрякова: «Ты погубил мою жизнь! Я не жил, не жил! По твоей милости я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни! Ты мой злейший враг!» Но Астров разъясняет Войницкому, что не Серебряков погубил его жизнь, и Войницкий соглашается.

Нет злодеев в установленном смысле этого слова и в «Трех сестрах». И не Наташа виновата в том, что героиням пьесы так и не удалось уехать в Москву. И даже Соленый, который в конце концов убивает Тузенбаха, не похож на типичного «злодея».

Послушаем, что говорит он о себе: «Когда я вдвоем с кем-нибудь, то ничего, я как все, но в обществе я уныл, застенчив и... говорю всякий вздор. Но все-таки я честнее и благороднее очень многих». А когда Тузенбах предлагает Соленому мириться, тот отвечает: «Я против вас, барон, никогда ничего не имел».

А Лопахин? Казалось бы, он, приобретая на торгах вишневый сад, который так дорог Раневской, должен сделаться ее врагом. А он искренне хочет помочь Раневской, выражает ей неподдельное сочувствие, и в его словах после выгодного для него торга звучат не только победные нотки. «Отчего же, отчего вы, – обращается Лопахин к Раневской, – меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь». И тут же о себе: «Идет новый помещик, владелец вишневого сада!» А вот что писал Чехов постановщикам спектакля: «Ведь это не купец в пошлом смысле слова... это мягкий человек... порядочный человек во всех смыслах».

И еще об одном «нарушении» Чеховым драматургических канонов.

В чеховской драме то и дело встречаются «безадресные» высказывания, реплики и даже целые монологи: герои Чехова горячо и заинтересованно обсуждают не связанные с сюжетом события и происшествия; с другой стороны, многие реплики, если они и обращены к определенному лицу, остаются без ответа.

Шабельский с горечью рассказывает Анне Петровне драму своей жизни: «Кто я? Что я? Был богат, свободен, немного счастлив, а теперь... нахлебник, приживалка, обезличенный шут», «...чаще всего меня не слышат и не замечают...». И что он слышит в ответ на это доверительное и нелегкое для него признание?

«Анна Петровна (покойно). Опять кричит...

Шабельский. Кто кричит?

Анна Петровна. Сова. Каждый вечер кричит».

Андрей пытается объясниться с сестрами «начистоту, раз и навсегда»: «Что вы имеете против меня? Что?... Что вы имеете против меня? Говорите прямо». И вдруг замечает: «Не слушают».

Речь в традиционной драме – это цепь связанных между собой логикой развития сюжетного действия монологов и диалогов. В чеховских пьесах она постоянно прерывается «безадресными» высказываниями и репликами, «незначащими» словами («Тара... ра... бумбия... сижу на тумбе я», – напевает Чебутыкин), многочисленными паузами. Только в одном третьем действии «Иванова» их около пятнадцати, в четвертом действии «Дяди Вани» – более десяти, в четвертом действии «Трех сестер» – более двадцати.

Прерывают и разрывают на обособленные части речевую ткань и музыкальные элементы, которыми Чехов щедро насыщал свои пьесы. В «Иванове» Шабельский и Анна Петровна играют дуэт. В «Дяде Ване» несколько раз принимается играть на гитаре Телегин. В «Трех сестрах» играют на пианино, поют; наигрывая на гитаре, Маша насвистывает; нянька поет, укачивая ребенка. В четвертом действии «музыка играет марш».

Леонид Андреев назвал паузы в чеховских пьесах «играющими». Но что «играют» все эти паузы, отрывочные высказывания, мимолетные слова, случайные реплики? А звуки за сценой? В «Иванове» за сценой кричит сова, «слышны далекие звуки гармоники», раздается стук сторожа. В «Дяде Ване» ночью «слышно, как в саду стучит сторож», за сценой слышны звонки, бубенчики. В «Трех сестрах» за стеной прозоровского дома играют и на гармонике, и на скрипке, и на арфе. И особенно богат и разнообразен звуковой фон за сценой «Вишневого сада»: «Далеко за садом пастух играет на свирели»; «Слышно, как в соседней комнате играют на бильярде»; «За сценой в глубине гул»; и перед тем как опуститься занавесу: «Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву»...

Тормозя, а то и вовсе останавливая надолго сюжетное действие, все эти, казалось бы, несценичные элементы на самом деле раздвигали границы сцены, открывали выход на сцену более широкому потоку жизни, чем только тот, который находил отражение в сюжете и конфликтных столкновениях героев. Они, эти несценичные элементы, образовывали в сюжете и диалогическом ряду просветы, с помощью которых героям, а вместе с ними и зрителю могли открыться подлинные причины их страданий и несчастий, более глубокие и неодолимые, чем отдельные, враждебные им лица.

На эти «за сценой» располагающиеся обстоятельства, которые влияли на судьбу героев, указывали и многие ремарки.

В дочеховской драме ремарки подсказывали актерам интонацию («громко», «шепотом»), обозначали психологическое состояние героя («задумчиво», «восторженно», «в страхе»).

В чеховских пьесах много ремарок, не связанных с монологами и диалогами героев, с сюжетом. Сеть таких «независимых» ремарок образует самостоятельное повествование, не столько драматургическое, сколько эпическое: «Стучит сторож. Телегин тихо наигрывает; Мария Васильевна пишет на полях брошюры; Марина вяжет чулок» («Дядя Ваня»); «Музыка играет все тише; Кулыгин, веселый, улыбающийся, несет шляпу и тальму; Андрей везет колясочку, в которой сидит Бобик» («Три сестры»)...

Было бы ошибкой объяснять провал премьеры «Чайки» плохой профессиональной подготовкой актеров и тем более злокозненным желанием труппы «шлепнуть» пьесу. Труппа Александринского театра была достаточно профессиональной труппой. И можно утверждать, что, играя она в тот злополучный для Чехова вечер пьесу какого-либо другого автора, вряд ли она провалилась бы, да «с треском». История русской сцены знает немало случаев актерских провалов, но провал спектакля премьерного – событие исключительное.

В какой-то мере Чехов был готов к тому, что случится с его пьесой в Александринке. «Вчерашнее происшествие, – писал он сестре, – не поразило и не очень огорчило меня, потому что уже был подготовлен к нему репетициями». А то, что увидел он в спектакле, было, как показалось Чехову, «уныло и странно до чрезвычайности»: актеры играли «глупо», «деревяннo, нерешительно».

Более того, Чехов предвидел и недоумение критиков, и сопротивление со стороны режиссеров и актеров, воспитанных на драматургических и сценических канонах. Именно поэтому он вводил в свои пьесы своего рода сигналы, которые помогали – при «умном», непредвзятом их прочтении – нащупать драматургические «узлы»,

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
сценическую «канву».

\* \* \*

Современная Чехову поэзия, на рубеже XIX–XX веков, широко практиковала, достигая художественно-выразительных эффектов, прием «обманываемых ожиданий». «Морозы... Читатель ждет уж рифмы розы» – так было во времена Пушкина. Поэты, современники Чехова, «обманывали» читателя, предлагая ему неожиданную рифму, пропуская ожидаемое, ритмической схемой диктуемое ударение, а то и слог или два-три слога (в дольнике). Нечто сходное с этим приемом «обманываемых ожиданий» наблюдается и в пьесах Чехова.

Герои «Иванова» прилагают немало усилий, чтобы разгадать, почему Николай Алексеевич Иванов, совсем недавно бодрый, деятельный, опустил руки, впал в тоску и меланхолию.

Иванов сам ставит довольно верный диагноз своей болезни: «Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человек, обратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди... сам черт не разберет! Есть жалкие люди, которым льстит, когда их называют Гамлетами или лишними, но для меня это – позор!» И в другом монологе Иванов так описывает свое состояние: «Еще года нет, как был здоров и силен, был бодр, неутомим, горяч... Я веровал, в будущее глядел, как в глаза родной матери... А теперь, о Боже мой! утомился, не верю, в безделье провожу дни и ночи...»

Но что надломило Иванова? «Мне кажется, – говорит он Лебедеву, – я тоже надорвался. Гимназия, университет, потом хозяйство, школы, проекты... Взвалил себе на спину ношу, а спина-то и треснула. В двадцать лет мы все уже герои, за все боремся, все можем, и к тридцати уже утомляемся, никуда не годимся». И так, как будто бы «утомляемость» – закон возраста? Но сам же Иванов и отводит предложенное им объяснение: «Впрочем, быть может, это не то... Не то, не то!.. Откуда во мне эта слабость?... Не понимаю, не понимаю, не понимаю...»

Поставлены в ряд «обманываемых ожиданий» и другие ответы. «Тебя, брат, среда заела», – говорит Иванову Лебедев. «Глупо, Паша, и старо», – парирует Иванов. И Лебедев соглашается: «Действительно, глупо. Теперь и сам вижу, что глупо». Несостоятельными представляются и сугубо обывательские объяснения Зинаиды Савишны и Бабакиной: «... бесится потому, что рассчитывал получить за женой большое приданое...»

От пересудов и сплетен Иванова горячо защищает Саша, но причины и виновных в кризисе Иванова она ищет только среди окружающих его людей.

Казалось бы, чем шире очерченный драматургом круг мнимых мотивов и причин надлома Иванова, тем определеннее искомый центр. И критикам и режиссерам, подсказывал Чехов, следовало бы выйти за пределы этого круга и обратить внимание на те пласты пьесы, которые оставались вне основных интриг и перипетий. Но они упорно усматривали в образе Иванова русский вариант Гамлета, хотя Иванов отрицает родство с ним. Они сужали конфликт до внутренней борьбы между желанием действительной жизни и психологической его «необеспеченностью» волей, стойкостью, последовательностью.

А между тем и в шекспировском «Гамлете» воля героя «поедается» не только его склонностью к разрушительным для нее рефлексиям, но и осознанием неодолимых для отдельного человека изменений в самой жизни («век вывихнулся», «распалась связь времен»)...

В «Дяде Ване» ложный, обманывающий ожидания сюжетный ход – это попытка Войницкого «списать» драму своей жизни на Серебрякова: «Ты погубил мою жизнь!» Но Астров быстро рассеивает «возвышающий» Войницкого туман и называет истинного его и самого Астрова врага: «Наше положение, твое и мое, безнадежно... Да, брат. Во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных человека: я да ты. Но в какие-нибудь десять лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас: она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как все». И Войницкий соглашается с Астровым.

В «Дяде Ване» Чехов злейшего врага его героев назвал открытым текстом.

Но появляется пьеса «Три сестры», и критическая мысль вновь устремляется по

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

привычному руслу: вновь встает вопрос, кто виноват в несчастиях трех сестер. И, не найдя персонафицированных злодеев, критики объявляют их несчастья чуть ли не придуманными: «...сестры обеспечены, прекрасно воспитаны и образованы, знают три иностранных языка, – они милы, всем нравятся, привлекая людей своей добротой и сердечностью, – казалось бы, почему им не жить? Почему не бросить свой провинциальный город, если он им так надоел, и не перебраться в Москву?...»

И все же именно с появлением «Трех сестер» к Чехову приходит всеобщее и безоговорочное признание крупнейшего драматурга-новатора. Режиссер и театровед тех лет Н. Эфрос справедливо напишет позднее, что «предыдущие пьесы – путь, а «Три сестры» – достижение, пункт, к которому этот путь привел. И полнее всего можно изучить, понять и оценить Чехова как драматурга новой формы именно по этой пьесе».

\* \* \*

Наиболее чуткие критики сразу восприняли «Трех сестер» как пьесу, в которой драматургическое своеобразие и новаторство Чехова достигло высшей завершенности. И хотя в определении этой «новой формы» опять-таки по инерции проскальзывали «нет» и «не», подлинная сценическая канва чеховских пьес была схвачена. Критика отмечала, что «вся сила и интерес «Трех сестер» – не в фабуле, которая, как всегда у Чехова-драматурга, незначительна, без сложных внешних перипетий... а в общей атмосфере», что «драма построена не на движении внешних событий, а на тонких движениях души», что – дадим слово крупнейшему театральному критику той поры А. Р. Кугелю – Чехов изобразил жизнь не «логическим кругом друг друга обуславливающих действий, связанных единством интриги», а как «что-то сырое, неуклюжее, бесформенное». Немирович-Данченко, закончив режиссерскую разработку «Трех сестер», написал автору: «... фабула разворачивается как в эпическом произведении... среди простого, верно схваченного течения жизни».

Приведем наконец и эстетическое кредо Чехова-драматурга: «Требуют, чтобы были герои, героиня сценически эффектны. Но ведь в жизни не каждую минуту стреляются, вешаются, объясняются в любви... Надо сделать такую пьесу, где бы люди приходили, уходили, обедали, разговаривали о погоде, играли в винт... Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни».

Да, в пьесах Чехова много и часто едят и пьют (чаепитием начинаются «Безотцовщина», «Дядя Ваня»). Чеховские герои волочатся за женщинами, играют в карты, причем именно в то время, когда разбивается жизнь Константина Треплева («Чайка»), когда решается судьба вишневого сада, его владельцев. Причем повседневное течение жизни вбирает в себя многие драматические события и эпизоды.

Но разве в чеховских пьесах только обедают, разговаривают о погоде? Разве «течение жизни» в них составляют одни только бытовые, незначительные случаи и происшествия? Воспроизводя «течение жизни», Чехов включал в создаваемый им образ своей современности и конфликты между людьми, и социальные коллизии. Пьесам Чехова не чужды ни острые интриги, ни событийная динамичность. Чехов не отрицает старого только потому, что оно старое, не отказывается от приемов классической драмы. Его герои и стреляют (дядя Ваня стреляет в Серебрякова, падают под выстрелами Платонов, Тузенбах), и стреляются (кончают жизнь самоубийством Иванов, Треплев).

Чехов, как требовали того законы классической драмы, передает и изменения в положении, во внешнем и внутреннем состоянии многих своих героев. Так, расставшись с мечтой о профессуре, Андрей становится секретарем, а затем и членом земской управы, чем очень гордится; Ольга – «начальницей» в гимназии, Кулыгин – инспектором. Особенно изменилось положение Наташи: застенчивая девушка в первом действии – полновластная хозяйка дома в финале.

И все-таки куда важнее увидеть в чеховских пьесах то, что «течение жизни» в ее повседневном, примелькавшемся обличье не составляло для автора самоценной величины.

Чехов изображает своих героев в какой-либо конкретной семейно-бытовой ситуации. Но сосредоточены они на осмыслении не столько бытовых ситуаций и эпизодов, сколько тех причин и обстоятельств, которые делают их несчастными и тогда, когда повседневное течение жизни ничем им (например, трем сестрам) не угрожает. Вот Андрей, прогуливая в колясочке Бобика, размышляет: «Отчего мы, едва начавши

жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны?...»

И чем больше происходило в пьесах событий, чем резче обозначались столкновения между персонажами, чем напряженнее размышляли они над своими судьбами, тем с большей очевидностью выяснялось, что личные взаимоотношения, «сшибки» с противниками, личные намерения и волевые усилия ничего или почти ничего не могут изменить в их судьбе. И Чехов разрабатывает такую «новую форму» драматургии, он так расставляет действующих лиц, дает такое направление ходу событий, сюжетному действию, чтобы установить: что (а не кто) виновато? что слагает счастье людей? и что разбивает их жизни?

Чеховских героев отличает исключительная напряженность раздумий над этими загадочными «что?» и интенсивность переживаний. Достаточно какого-нибудь незначительного внешнего события, впечатления от происшествия, чтобы мысли и переживания, самые задушевные, выплеснулись наружу. Отсюда и неожиданная, не всегда сюжетным положением мотивированная «предрасположенность» чеховских героев к откровенным признаниям, к самовыражению. При этом у Чехова рассуждают и размышляют не только главные герои, но и те, от которых, казалось, нельзя ожидать необходимой для этого интеллектуальной «подготовки».

В дочеховской драме обобщающие суждения о жизни, тем более близкие к авторским, высказывались, как правило, героями положительными – вспомним хотя бы Стародума, Чацкого, Кулыгина. У Чехова более свободная, чем у его предшественников, связь между словом, его смысловой, идейной нагрузкой и характером персонажа. Значение высказанной мысли не обязательно совпадало с социально-психологической и этической значимостью героя.

В «Иванове» Чехов не «воздержался» от шутов. Один из них чиновник Косых. Но это он говорит: «Живешь, как в Австралии: ни общих интересов, ни солидарности... Каждый живет врозь». Елена Андреевна «аттестует» себя лицом эпизодическим, но это ей доверяет драматург поставить проницательный диагноз болезни, которая поразила не только героев пьесы «Дядя Ваня», но и всю тогдашнюю современность: «Во всех вас сидит бес разрушения... мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких дрызг». В «Вишневом саде» одна из ключевых для постижения его смысла реплик принадлежит фирсу: «...теперь все вздробь».

В чеховских пьесах глубоким смыслом облечено каждое слово, каждая, даже кажущаяся случайной, реплика. И это первыми услышали и поняли режиссеры и актеры МХАТа. «Чувствую, ценю каждое слово», – телеграфировал Станиславский Чехову, прочитав «Вишневый сад». Отрывочные замечания и «безадресные» реплики вступают в смысловую переключку между собой, с другими высказываниями, не всегда связанными с ходом событий, и общий речевой поток наполняется внутренней логикой и согласованностью.

Вот Чебутыкин разговаривает, по-видимому, сам с собой: «Третьего дня – разговор в клубе; говорят, Шекспир, Вольтер... Я не читал, совсем не читал, а на лице своем показал, будто читал. И другие тоже, как я. Пошлость! Низость!» А в четвертом действии этот мотив подхватывает и развивает до своего логического конца Андрей: «Город наш существует уже двести лет, в нем сто тысяч жителей, и ни одного, который не был бы похож на других... Только едят, пьют, спят, потом умирают... разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством... и неотразимо пошлое влияние гнетет детей...»

«Все действие, – писал о «Трех сестрах» Немирович-Данченко, – так переполнено этими, как бы ничего не значащими, диалогами, никого не задевающими слишком сильно за живое, никого особенно не волнующими, но, без всякого сомнения, схваченными из жизни и прошедшими через художественный темперамент автора и, конечно, глубоко связанными каким-то одним настроением, какой-то одной мечтой. Вот это настроение... и составляет то подводное течение всей пьесы, которое заменит устаревшее «сценическое действие». При этом отдельные действия пьесы контрастировали между собой эмоциональной тональностью, что уловила и хорошо передала в отзыве о генеральной репетиции «Трех сестер» Мария Павловна Чехова. «Я, – написала она брату, – сидела в театре и плакала, особенно в третьем действии... Если бы ты знал, как интересно и весело идет первый акт!» Это изменяющееся настроение героев и вывело «подводное течение» наружу, которое, в свою очередь, питало сценическое действие.

В первом акте пьесы все полны надежд и радостных ожиданий. Тон для светлого настроения задает Ирина: «Я не знаю, отчего у меня на душе так светло!.. Точно я на парусах, надо мной широкое голубое небо и носятся большие белые птицы». Намечен на осень переезд в Москву. Не вызывает у сестер сомнения, что Андрей станет профессором. Благодушеством Кулыгин, поддается общему настроению и Чебутыкин. Он растроган и, целуя Ирине руки, говорит: «Птица моя белая...» Не в духе, правда, Маша, но и ее «мерехлюндия» с появлением Вершинина проходит. С подъемом и уверенностью Тузенбах говорит о приближении новой жизни. В тоне мажорной атмосферы первого действия и его счастливое окончание: Андрей делает предложение Наташе.

Но уже во втором действии атмосфера иная. Андрею в доме скучно, да и в городе он чувствует себя «чужим и одиноким». Маша вслух признается, что она разочаровалась в своем муже и что среди его товарищей, учителей, она «страдает». Разочарованной возвращается со своей службы на телеграфе Ирина; уставшей, с головной болью приходит из гимназии Ольга. «Не в духе» и Вершинин. Он еще продолжает уверять, что «все на земле должно измениться мало-помалу», но тут же и заявляет: «И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас».

Еще безрадостнее третье действие. «Куда? куда все ушло?» – рыдает Ирина. «Как-то мы проживем нашу жизнь, что из нас будет?» – задумывается Маша. «Когда я женился, – плачет Андрей, – я думал, что мы будем счастливы... все счастливы... Но Боже мой...» Лишился своего оптимизма Тузенбах: «И какая мне тогда мерещилась счастливая жизнь! Где она?» И чем упорнее твердит Кулыгин: «Я доволен, я доволен, я доволен!» – тем яснее, как несчастны и сестры, и Вершинин, и Тузенбах, и сам Кулыгин.

«Течение жизни» в четвертом действии окончательно заглушает мечту трех сестер о Москве.

Чебутыкин, благословляя Ирину на замужество и переезд на завод, напутствует: «Летите, мои милые, летите с Богом!» Но ни Ирина, ни ее сестры не те вольные птицы, на которых с завистью смотрит Маша: «А уже летят перелетные птицы... Милые мои, счастливые мои...»

Сестры Прозоровы – это те «перелетные птицы», с которыми сравнивал себя и любимую им женщину Гуров, герой «Дамы с собачкой»: «...поймали и заставили жить в отдельных клетках». Трех сестер «поймала», как и брата Андрея, пошлая провинциальная жизнь.

Ирина наконец сознает, что Москва – недостижимая мечта. Сдерживает рыдания, простившись навсегда с Вершининым, Маша. Не в состоянии последовать совету Чебутыкина («Уходи и иди, иди без оглядки») и «улететь» Андрей: «О, где оно, куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен, когда я мечтал и мыслил изящно, когда настоящее и будущее мое озарилось надеждой?»

За сценой «глухой, далекий выстрел»: убит на дуэли Тузенбах; за сценой «музыка играет марш»: это уходят из города военные.

В «Трех сестрах» с особой выразительностью обозначилось и то свойство чеховского драматургического стиля, о котором критика заговорила еще в связи с постановкой «Дяди Вани». «До последнего времени драматурги всех стран и эпох, – отмечал петербургский рецензент, – писали для сцены драмы, комедии и водевили... «Дядя Ваня», разумеется, не комедия, тем более не драма, несомненно это и не водевиль – это именно настроение в четырех актах». «Драмы Чехова, – вторил рецензенту Н. Эфрос, – пьесы настроения прежде всего». «Драма настроений» – так озаглавил свою статью, посвященную «Трем сестрам», крупнейший поэт и критик той поры Иннокентий Анненский.

Но «подводное течение» в чеховских пьесах шире и глубже, чем только лирическое настроение. Более того, определяет и направляет это течение мощный смысловой поток, образующий видимый лирический стержень. Герои Чехова не только переживают. Они сосредоточенно размышляют о жизни. Раздумывая, обмениваясь наблюдениями и выводами, они приходят к мысли о непреодолимой зависимости личных судеб от общих, кажущихся некоторым из них таинственными законов жизни. И эта движущаяся к обобщениям мысль, питая переживания и настроения, составляет



Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
сценическую основу чеховской драматургии.

Основной «виновник» несчастий чеховских героев, главный «враг», разбивающий их жизни, имеет в чеховских пьесах много имен: «атмосфера» жизни («Иванов»), «жизнь обывательская», ее «гнилые испарения» («Дядя Ваня»), «пошлая», «странная», «грешная жизнь» («Три сестры»), «дурацкая», «нескладная, несчастная жизнь» («Вишневый сад»).

Много имен, много ликов. Но в существе своем этот главный «враг» и «виновник» – повсеместное неблагополучие, неустроенность социальных, нравственных, повседневно-бытовых отношений, господствующий «нескладный», ненормальный уклад русской жизни. А в одном из чеховских рассказов говорится о господствующей в жизни «логической несообразности».

Несуразно, «нескладно» ведут себя герои «Вишневого сада». Часто поведение их лишено не только логики, но и элементарного житейского расчета. Лопехин подсказывает Раневской единственно реальное средство спастись от разорения, а Гаев отвечает: «Извините, какая чепуха!» Лопехин предлагает свою помощь, искреннюю и бескорыстную, а Гаев называет его хамом. И уж совсем лишено логики поведение Раневской в третьем действии: в городе идут торги – в имении бал, играет оркестр, в зале танцуют. Поистине пир во время чумы!

«Нескладная» жизнь, показывает Чехов, достигла своего предела. Она не только исчерпала свои собственные творческие силы. Она губит всякие порывы к разумной, деятельной жизни. Она уничтожила вишневый сад: в пьесе он, олицетворяя красоту, способную к обновлению жизнь, становится этической мерой происходящего в жизни социальной.

Распадаясь, отмирая, «враздробь» идущая жизнь подводит чеховских героев к резко критической оценке своей современности. Но под спудом этого процесса они прозревают и обнадеживающие, благодетельные изменения к лучшему. Исчерпанность старого, «пошлого» мира для лучших чеховских героев и самого автора – залог неизбежных перемен, грядущего наступления новых форм человеческих отношений – справедливых, гуманных, высоконравственных. «Мы живем накануне величайшего торжества!» – уверенно заявляет один из героев чеховского романа «Три года».

\* \* \*

В 1880-е годы Чехов хотел и пытался изображать жизнь только «такую, какая она есть», он хотел остаться предельно объективным, даже бесстрастным художником. В 1890-е годы в его мирозерцании и творчестве происходит коренной перелом, во многом связанный с поездкой писателя на Сахалин. Ужасы каторги обостряют его критическое отношение к действительности: критический пафос, свойственный писателю и ранее, пронизывает теперь все сферы изображаемой им жизни. А вместе с тем в своих произведениях 90-х годов Чехов выражает и романтическое предчувствие новой, прекрасной жизни.

«Вспомните, – пишет Чехов, – что писатели, которых мы называем вечными или просто хорошими и которые пьянят нас, имеют один общий и весьма важный признак: они куда-то идут и Вас зовут туда же, и Вы чувствуете не умом, а всем своим существом, что у них есть какая-то цель...

Лучшие из них реальны и пишут жизнь такую, какая она есть, но оттого, что каждая строчка пропитана, как соком, сознанием цели, Вы, кроме жизни, какая есть, чувствуете еще ту жизнь, какая должна быть, и это пленяет Вас». В своем творчестве 90-х годов, прозаическом и драматургическом, Чехов следует этим вечным заветам искусства.

Последовательный реалист, Чехов не рисует жизни, какой она должна быть. Прекрасное будущее – это предмет романтических раздумий и настроений его лучших героев, это их мечта. И настолько близкая автору, что в «Трех сестрах», например, он создает даже паузу в сюжетном действии, чтобы ввести романтические мотивы в общую композицию пьесы:

«Вершинин. Что ж? Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем.

Тузенбах. Давайте. О чем?

Вершинин. О чем? Давайте помечтаем... например, о той жизни, какая будет после

нас...»

В финал пьесы Чехов выносит монолог Ольги, пронизанный нотами бодрости. Они как бы воскрешали прежний оптимизм сестер, укрепляя веру в торжество разумных и справедливых отношений между людьми, в ту прекрасную жизнь, о которой размышляли Вершинин и Тузенбах. И Леонид Андреев был прав, утверждая, что «Три сестры» не пессимистическое произведение, а «светлая, хорошая пьеса»: «Тоска о жизни – вот то мощное настроение, которое с начала до конца проникает пьесу и слезами ее героинь поет гимн этой самой жизни...»

Романтические предчувствия будущего, казалось, не мотивированы ни ходом событий, ни характером действующих лиц, сломленных неодолимой пошлостью. Сестры так и не сделали ни одного практического шага, чтобы уехать в Москву; Тузенбах успел лишь подать в отставку; Вершинин погряз в семейных дрызгах. Типичный неудачник – Петя Трофимов. Чехов ставит Петю в смешные положения, постоянно компрометирует его, снижая образ до предельно негероического – «облезлый барин», «вечный студент», которого Лопахин все время «поддевает» ироническими замечаниями: «Что же, профессора не читают лекций, небось все ждут, когда приедешь?... Сколько лет, как ты в университете учишься?» А с другой стороны, мысли и мечты Пети Трофимова так близки задушевным авторским мыслям и надеждам!

Но чеховская поэтика снимает, разрешает это кажущееся противоречие. У Чехова, как отмечалось, более свободная, чем у его предшественников, связь между словом и характером действующего лица, произносящего это слово. Объективность, истинность высказанного убеждения, вывода Чехов проверяет не индивидуальным характером, а общим состоянием жизни, всем ее социально-нравственным укладом. И романтические предчувствия прекрасной жизни составляют в художественном мире чеховских пьес объективно значимую величину. В них дышит художественная правда потому, что романтика ее героев мотивирована, оправдана всем «течением жизни», всем происходящим и свершающимся в изображенном драматургом мире. «Пошлая», «странная», «грешная», «нескладная» жизнь исчерпала себя, отсюда – «Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка»; «... становится яснее и легче, и, по-видимому, недалеко то время, когда она (жизнь. – В. Б.) станет совсем светлой» («Три сестры»); «Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы... Я предчувствую счастье. Вот оно, счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги» («Вишневый сад»).

В. А. Богданов

Чайка[1]

Комедия в четырех действиях

Действующие лица

Ирина Николаевна Аркадина, по мужу Треплева, актриса.

Константин Гаврилович Треплев, ее сын, молодой человек.

Петр Николаевич Сорин, ее брат.

Нина Михайловна Заречная, молодая девушка, дочь богатого помещика.

Илья Афанасьевич Шамраев, поручик в отставке, управляющий у Сорина.

Полина Андреевна, его жена.

Маша, его дочь.

Борис Алексеевич Тригорин, беллетрист.

Евгений Сергеевич Дорн, врач.

Семен Семенович Медведенко, учитель.

Яков, работник.

Повар.

Горничная.

Действие происходит в усадьбе Сорина. Между третьим и четвертым действием проходит два года.

Действие первое

Часть парка в имении Сорина. Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в глубину парка к озеру, загорожена эстрадой, наскоро сколоченной для домашнего спектакля, так что озера совсем не видно. Налево и направо у эстрады кустарник. Несколько стульев, столик.

Только что зашло солнце. На эстраде за опущенным занавесом Яков и другие работники; слышатся кашель и стук.

Маша и Медведенко идут слева, возвращаясь с прогулки.

Медведенко. Отчего вы всегда ходите в черном?

Маша. Это траур по моей жизни. Я несчастна.

Медведенко. Отчего? (В раздумье.) Не понимаю.. Вы здоровы, отец у вас хотя и небогатый, но с достатком. Мне живется гораздо тяжелее, чем вам. Я получаю всего 23 рубля в месяц, да еще вычитают с меня в эмеритуру, а все же я не ношу траура. (Садятся.)

Маша. Дело не в деньгах. И бедняк может быть счастлив.

Медведенко. Это в теории, а на практике выходит так: я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись.

Маша (оглядываясь на эстраду). Скоро начнется спектакль.

Медведенко. Да. Играть будет Заречная, а пьеса сочинения Константина Гавриловича. Они влюблены друг в друга, и сегодня их души сольются в стремлении дать один и тот же художественный образ. А у моей души и у вашей нет общих точек соприкосновения. Я люблю вас, не могу от тоски сидеть дома, каждый день хожу пешком шесть верст сюда да шесть обратно и встречаю один лишь индифферентизм с вашей стороны. Это понятно. Я без средств, семья у меня большая.. Какая охота идти за человека, которому самому есть нечего?

Маша. Пустяки. (Нюхает табак.) Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать взаимностью, вот и все. (Протягивает ему табакерку.) Одолжайтесь.

Медведенко. Не хочется.

Пауза.

Маша. Душно, должно быть, ночью будет гроза. Вы всё философствуете или говорите о деньгах. По-вашему, нет большего несчастья, как бедность, а по-моему, в тысячу раз легче ходить в лохмотьях и побираться, чем.. Впрочем, вам не понять этого..

Входят справа Сорин и Треплев.

Сорин (опираясь на трость). Мне, брат, в деревне как-то не того, и, понятная вещь, никогда я тут не привыкну. Вчера лег в десять и сегодня утром проснулся в девять с таким чувством, как будто от долгого сна у меня мозг прилип к черепу

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
и все такое. (Смеется.) А после обеда нечаянно опять уснул, и теперь я весь разбит, испытываю кошмар, в конце концов...

Треплев. Правда, тебе нужно жить в городе. (Увидев Машу и Медведенку.) Господа, когда начнется, вас позовут, а теперь нельзя здесь. Уходите, пожалуйста.

Сорин (Маше). Марья Ильинична, будьте так добры, попросите вашего папашу, чтобы он распорядился отвязать собаку, а то она воеет. Сестра опять всю ночь не спала.

Маша. Говорите с моим отцом сами, а я не стану. Увольте, пожалуйста. (Медведенку.) Пойдемте!

Медведенко (Треплеву). Так вы перед началом пришлите сказать. (Оба уходят.)

Сорин. Значит, опять всю ночь будет выть собака. Вот история, никогда в деревне я не жил, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск на 28 дней и приедешь сюда, чтобы отдохнуть, и всё, но тут тебя так доймают всяким вздором, что уж с первого дня хочется вон. (Смеется.) Всегда я уезжал отсюда с удовольствием... Ну, а теперь я в отставке, деваться некуда, в конце концов. Хочешь – не хочешь, живи...

Яков (Треплеву). Мы, Константин Гаврилыч, купаться пойдем.

Треплев. Хорошо, только через десять минут будьте на местах. (Смотрит на часы.) Скоро начнется.

Яков. Слушаю. (Уходит.)

Треплев (окидывая взглядом эстраду). Вот тебе и театр. Занавес, потом первая кулиса, потом вторая и дальше пустое пространство. Декораций никаких. Открывается вид прямо на озеро и на горизонт. Поднимем занавес ровно в половине девятого, когда взойдет луна.

Сорин. Великолепно.

Треплев. Если Заречная опоздает, то, конечно, пропадет весь эффект. Пора бы уж ей быть. Отец и мачеха стерегут ее, и вырваться ей из дому так же трудно, как из тюрьмы. (Поправляет дяде галстук.) Голова и борода у тебя взлохмачены. Надо бы постричься, что ли...

Сорин (расчесывая бороду). Трагедия моей жизни. У меня и в молодости была такая наружность, будто я запоем пил, и всё. Меня никогда не любили женщины. (Садясь.) Отчего сестра не в духе?

Треплев. Отчего? Скучает. (Садясь рядом.) Ревнует. Она уже и против меня, и против спектакля, и против моей пьесы, потому что ее беллетристу может понравиться Заречная. Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее.

Сорин (смеется). Выдумашь, право...

Треплев. Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене будет иметь успех Заречная, а не она. (Посмотрев на часы.) Психологический курьез – моя мать. Бесспорно талантлива, умна, способна рыдать над книжкой, отхватит тебе всего Некрасова наизусть, за больными ухаживает, как ангел; но попробуй похвалить при ней Дузе[2]. Ого-го! Нужно хвалить только ее одну, нужно писать о ней, кричать, восторгаться ее необыкновенною игрой в «La dame aux camélias»[3] или в «Чад жизни»[4], но так как здесь, в деревне, нет этого дурмана, то вот она скучает и злится, и все мы – ее враги, все мы виноваты. Затем, она суеверна, боится трех свечей, тринадцатого числа. Она скупа. У нее в Одессе в банке семьдесят тысяч – это я знаю наверное. А попроси у нее займы, она станет плакать.

Сорин. Ты вообразил, что твоя пьеса не нравится матери, и уже волнуешься, и всё. Успокойся, мать тебя обожает.

Треплев (обрывая у цветка лепестки). Любит – не любит, любит – не любит, любит – не любит. (Смеется.) Видишь, моя мать меня не любит. Еще бы! Ей хочется жить, любить, носить светлые кофточки, а мне уже двадцать пять лет, и я постоянно напоминаю ей, что она уже немолода. Когда меня нет, ей только тридцать два года, при мне же сорок три, и за это она меня ненавидит. Она знает также, что я не

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

признаю театра. Она любит театр, ей кажется, что она служит человечеству, святому искусству, а по-моему, современный театр – это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки; когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль, – мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе; когда в тысяче вариаций мне подносят всё одно и то же, одно и то же, одно и то же, – то я бегу и бегу, как Мопассан бежал от Эйфелевой башни, которая давила ему мозг своею пошлостью.

Сорин. Без театра нельзя.

Треплев. Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно. (Смотрит на часы.) Я люблю мать, сильно люблю; но она курит, пьет, открыто живет с этим беллетристом, имя ее постоянно треплют в газетах – и это меня утомляет. Иногда же просто во мне говорит эгоизм обыкновенного смертного; бывает жаль, что у меня мать известная актриса, и, кажется, будь это обыкновенная женщина, то я был бы счастливее. Дядя, что может быть отчаяннее и глупее положения: бывало, у нее сидят в гостях сплошь все знаменитости, артисты и писатели, и между ними только один я – ничто, и меня терпят только потому, что я ее сын. Кто я? Что я? Вышел из третьего курса университета по обстоятельствам, как говорится, от редакции не зависящим, никаких талантов, денег ни гроша, а по паспорту я – киевский мещанин. Мой отец ведь киевский мещанин, хотя тоже был известным актером. Так вот, когда, бывало, в ее гостиной все эти артисты и писатели обращали на меня свое милостивое внимание, то мне казалось, что своими взглядами они измеряли мое ничтожество, – я угадывал их мысли и страдал от унижения...

Сорин. Кстати, скажи, пожалуйста, что за человек ее беллетрист? Не поймешь его. Всё молчит.

Треплев. Человек умный, простой, немножко, знаешь, меланхоличный. Очень порядочный. Сорок лет будет ему еще не скоро, но он уже знаменит и сыт, сыт по горло... Теперь он пьет одно только пиво и может любить только немолодых. Что касается его писаний, то... как тебе сказать? Мило, талантливо... но... после Толстого или Зола не захочешь читать Тригорина.

Сорин. А я, брат, люблю литераторов. Когда-то я страстно хотел двух вещей: хотел жениться и хотел стать литератором, но не удалось ни то, ни другое. Да. И маленьким литератором приятно быть, в конце концов.

Треплев (прислушивается). Я слышу шаги... (Обнимает дядю.) Я без нее жить не могу... Даже звук ее шагов прекрасен... Я счастлив безумно. (Быстро идет навстречу Нине Заречной, которая входит.) Волшебница, мечта моя...

Нина (взволнованно). Я не опоздала... Конечно, я не опоздала...

Треплев (целуя ее руки). Нет, нет, нет...

Нина. Весь день я беспокоилась, мне было так страшно! Я боялась, что отец не пустит меня... Но он сейчас уехал с мачехой. Красное небо, уже начинает восходить луна, и я гнала лошадь, гнала. (Смеется.) Но я рада. (Крепко жмет руку Сорина.)

Сорин (смеется). Глазки, кажется, заплаканы... Ге-ге! Нехорошо!

Нина. Это так... Видите, как мне тяжело дышать. Через полчаса я уеду, надо спешить. Нельзя, нельзя, Бога ради, не удерживайте. Отец не знает, что я здесь.

Треплев. В самом деле, уже пора начинать. Надо идти звать всех.

Сорин. Я схожу, и всё. Сию минуту. (Идет вправо и поет.) «Во Францию два гренадера...» [5] (Оглядывается.) Раз так же вот я запел, а один товарищ прокурора и говорит мне: «А у вас, ваше превосходительство, голос сильный»... Потом подумал и прибавил: «Но... противный». (Смеется и уходит.)

Нина. Отец и его жена не пускают меня сюда. Говорят, что здесь богема... боятся, как бы я не пошла в актрисы... А меня тянет сюда к озеру, как чайку... Мое сердце полно вами. (Оглядывается.)

Треплев. Мы одни.

Нина. Кажется, кто-то там...

Треплев. Никого.

Поцелуй.

Нина. Это какое дерево?

Треплев. Вяз.

Нина. Отчего оно такое темное?

Треплев. Уже вечер, темнеют все предметы. Не уезжайте рано, умоляю вас.

Нина. Нельзя.

Треплев. А если я поеду к вам, Нина? Я всю ночь буду стоять в саду и смотреть на ваше окно.

Нина. Нельзя, вас заметит сторож. Трезор еще не привык к вам и будет лаять.

Треплев. Я люблю вас.

Нина. Тсс...

Треплев (услышав шаги). Кто там? Вы, Яков?

Яков (за эстрадой). Точно так.

Треплев. Становитесь по местам. Пора. Луна восходит?

Яков. Точно так.

Треплев. Спирт есть? Сера есть? Когда покажутся красные глаза, нужно, чтобы пахло серой. (Нине.) Идите, там все приготовлено. Вы волнуетесь?...

Нина. Да, очень. Ваша мама – ничего, ее я не боюсь, но у вас Тригорин... Играть при нем мне страшно и стыдно... Известный писатель... Он молод?

Треплев. Да.

Нина. Какие у него чудесные рассказы!

Треплев (холодно). Не знаю, не читал.

Нина. В вашей пьесе трудно играть. В ней нет живых лиц.

Треплев. Живые лица! Надо изображать жизнь не такую, как она есть, и не такую, как должна быть, а такую, как она представляется в мечтах.

Нина. В вашей пьесе мало действия, одна только читка. И в пьесе, по-моему, непременно должна быть любовь...

Оба уходят за эстраду.

Входят Полина Андреевна и Дорн.

Полина Андреевна. Становится сыро. Вернитесь, наденьте калоши.

Дорн. Мне жарко.

Полина Андреевна. Вы не бережете себя. Это упрямство. Вы – доктор и отлично знаете, что вам вреден сырой воздух, но вам хочется, чтобы я страдала; вы нарочно просидели вчера весь вечер на террасе...

Дорн (напевает). «Не говори, что молодость сгубила»[6].

Полина Андреевна. Вы были так увлечены разговором с Ириной Николаевной... вы не замечали холода. Признайтесь, она вам нравится...

Дорн. Мне 55 лет.

Полина Андреевна. Пустяки, для мужчины это не старость. Вы прекрасно сохранились и еще нравитесь женщинам.

Дорн. Так что же вам угодно?

Полина Андреевна. Перед актрисой вы все готовы падать ниц. Все!

Дорн (напевает). «Я вновь пред тобою...»[7] Если в обществе любят артистов и относятся к ним иначе, чем, например, к купцам, то это в порядке вещей. Это – идеализм.

Полина Андреевна. Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею. Это тоже идеализм?

Дорн (пожав плечами). Что ж? В отношениях женщин ко мне было много хорошего. Во мне любили главным образом превосходного врача. Лет 10–15 назад, вы помните, во всей губернии я был единственным порядочным акушером. Затем всегда я был честным человеком.

Полина Андреевна (хватает его за руку). Дорогой мой!

Дорн. Тише. Идут.

Входят Аркадина под руку с Сориным, Тригорин, Шамраев, Медведенко и Маша.

Шамраев. В 1873 году в Полтаве на ярмарке она играла изумительно. Один восторг! Чудно играла! Не изволите ли также знать, где теперь комик Чадин, Павел Семеныч? В Расплюеве был неподражаем, лучше Садовского[8], клянусь вам, многоуважаемая. Где он теперь?

Аркадина. Вы всё спрашиваете про каких-то допотопных. Откуда я знаю! (Садится.)

Шамраев (вздыхнув). Пашка Чадин! Таких уж нет теперь. Пала сцена, Ирина Николаевна! Прежде были могучие дубы, а теперь мы видим одни только пни.

Дорн. Блестящих дарований теперь мало, это правда, но средний актер стал гораздо выше.

Шамраев. Не могу с вами согласиться. Впрочем, это дело вкуса. De gustibus aut bene, aut nihil[9].

Треплев выходит из-за эстрады.

Аркадина (сыну). Мой милый сын, когда же начало?

Треплев. Через минуту. Прошу терпения.

Аркадина (читает из «Гамлета»). «Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых, в таких смертельных язвах – нет спасенья!»[10]

Треплев (из «Гамлета»). «И для чего ж ты поддалась пороку, любви искала в бездне

преступленья?»

За эстрадой играют в рожок.

Господа, начало! Прошу внимания!

Пауза.

Я начинаю. (Стучит палочкой и говорит громко.) О вы, почтенные старые тени, которые носитесь в ночную пору над этим озером, усыпите нас, и пусть нам приснится то, что будет через двести тысяч лет!

Сорин. Через двести тысяч лет ничего не будет.

Треплев. Так вот пусть изобразят нам это ничего.

Аркадина. Пусть. Мы спим.

Поднимается занавес; открывается вид на озеро; луна над горизонтом, отражение ее в воде; на большом камне сидит Нина За речная, вся в белом.

Нина. Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, – словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли... Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах. Холодно, холодно, холодно. Пусто, пусто, пусто. Страшно, страшно, страшно.

Пауза.

Тела живых существ исчезли в прахе, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души их всех слились в одну. Общая мировая душа – это я... я... Во мне душа и Александра Великого, и Цезаря, и Шекспира, и Наполеона, и последней пивавки. Во мне сознания людей слились с инстинктами животных, и я помню все, все, все, и каждую жизнь в себе самой я переживаю вновь.

Показываются болотные огни.

Аркадина (тихо). Это что-то декадентское.

Треплев (умоляюще и с упреком). Мама!

Нина. Я одинока. Раз в сто лет я открываю уста, чтобы говорить, и мой голос звучит в этой пустоте уныло, и никто не слышит... И вы, бледные огни, не слышите меня... Под утро вас рождает гнилое болото, и вы блуждаете до зари, но без мысли, без воли, без трепетания жизни. Боясь, чтобы в вас не возникла жизнь, отец вечной материи, дьявол, каждое мгновение в вас, как в камнях и в воде, производит обмен атомов, и вы меняетесь непрерывно. Во вселенной остается постоянным и неизменным один лишь дух.

Пауза.

Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет. От меня не скрыто лишь, что в упорной, жестокой борьбе с дьяволом, началом материальных сил, мне суждено победить, и после того материя и дух сольются в



Пьесы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
гармонии прекрасной и наступит царство мировой воли. Но это будет лишь, когда мало-помалу, через длинный, длинный ряд тысячелетий, и луна, и светлый Сириус, и земля обратятся в пыль... А до тех пор ужас, ужас...

Пауза; на фоне озера показываются две красные точки.

Вот приближается мой могучий противник, дьявол. Я вижу его страшные багровые глаза...

Аркадина. Серой пахнет. Это так нужно?

Треплев. Да.

Аркадина (смеется). Да, это эффект.

Треплев. Мама!

Нина. Он скучает без человека...

Полина Андреевна (Дорну). Вы сняли шляпу. Наденьте, а то простудитесь.

Аркадина. Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.

Треплев (вспылив, громко). Пьеса кончена! Довольно! Занавес!

Аркадина. Что же ты сердишься?

Треплев. Довольно! Занавес! Подавай занавес! (Топнув ногой.) Занавес!

Занавес опускается.

Виноват! Я выпустил из вида, что писать пьесы и играть на сцене могут только немногие избранные. Я нарушил монополию! Мне... Я... (Хочет еще что-то сказать, но машет рукой и уходит влево.)

Аркадина. Что с ним?

Сорин. Ирина, нельзя так, матушка, обращаться с молодым самолюбием.

Аркадина. Что же я ему сказала?

Сорин. Ты его обидела.

Аркадина. Он сам предупреждал, что это шутка, и я относилась к его пьесе как к шутке.

Сорин. Все-таки...

Аркадина. Теперь оказывается, что он написал великое произведение! Скажите пожалуйста! Стало быть, устроил он этот спектакль и надушил серой не для шутки, а для демонстрации... Ему хотелось поучить нас, как надо писать и что нужно играть. Наконец, это становится скучно. Эти постоянные вылазки против меня и шпильки, воля ваша, надоедят хоть кому! Капризный, самолюбивый мальчик.

Сорин. Он хотел доставить тебе удовольствие.

Аркадина. Да? Однако же вот он не выбрал какой-нибудь обыкновенной пьесы, а заставил нас прослушать этот декадентский бред. Ради шутки я готова слушать и бред, но ведь тут претензии на новые формы, на новую эру в искусстве. А по-моему, никаких тут новых форм нет, а просто дурной характер.

Тригорин. Каждый пишет так, как хочет и как может.

Аркадина. Пусть он пишет как хочет и как может, только пусть оставит меня в

покое.

Дорн. Юпитер, ты сердисься...

Аркадина. Я не Юпитер, а женщина. (Закуривает.) Я не сержусь, мне только досадно, что молодой человек так скучно проводит время. Я не хотела его обидеть.

Медведеenko. Никто не имеет основания отделять дух от материи, так как, быть может, самый дух есть совокупность материальных атомов. (Живо, Тригорину.) А вот, знаете ли, описать бы в пьесе и потом сыграть на сцене, как живет наш брат – учитель. Трудно, трудно живется!

Аркадина. Это справедливо, но не будем говорить ни о пьесах, ни об атомах. Вечер такой славный! Слышите, господа, поют? (Прислушивается.) Как хорошо!

Полина Андреевна. Это на том берегу.

Пауза.

Аркадина (Тригорину). Сядьте возле меня. Лет 10–15 назад, здесь, на озере, музыка и пение слышались непрерывно почти каждую ночь. Тут на берегу шесть помещичьих усадеб. Помню, смех, шум, стрельба, и всё романы, романы... Жеппе ргеіег'ом и кумиром всех этих шести усадеб был тогда вот, рекомендую (кивает на Дорна), доктор Евгений Сергеич. И теперь он очарователен, но тогда был неотразим. Однако меня начинает мучить совесть. За что я обидела моего бедного мальчика? Я непокойна. (Громко.) Костя! Сын! Костя!

Маша. Я пойду поищу его.

Аркадина. Пожалуйста, милая.

Маша (идет влево). Ау! Константин Гаврилович!.. Ау! (Уходит.)

Нина (выходя из-за эстрады). Очевидно, продолжения не будет, мне можно выйти. Здравствуйте! (Целуется с Аркадиной и Полиной Андреевной.)

Сорин. Bravo! bravo!

Аркадина. Bravo! bravo! Мы любовались. С такую наружностью, с таким чудным голосом нельзя, грешно сидеть в деревне. У вас должен быть талант. Слышите? Вы обязаны поступить на сцену!

Нина. О, это моя мечта! (Вздыхнув.) Но она никогда не осуществится.

Аркадина. Кто знает? Вот позвольте вам представить: Тригорин, Борис Алексеевич.

Нина. Ах, я так рада... (Сконфузившись.) Я всегда вас читаю...

Аркадина (усаживая ее возле). Не конфузьтесь, милая. Он знаменитость, но у него простая душа. Видите, он сам сконфузился.

Дорн. Полагаю, теперь можно поднять занавес, а то жутко.

Шамраев (громко). Яков, подними-ка, братец, занавес!

Занавес поднимается.

Нина (Тригорину). Не правда ли, странная пьеса?

Тригорин. Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренно играли. И декорация была прекрасная.

Пауза.

Должно быть, в этом озере много рыбы.

Нина. Да.

Тригорин. Я люблю удить рыбу. Для меня нет больше наслаждения, как сидеть под вечер на берегу и смотреть на поплавок.

Нина. Но, я думаю, кто испытал наслаждение творчества, для того уже все другие наслаждения не существуют.

Аркадина (смеясь). Не говорите так. Когда ему говорят хорошие слова, то он проваливается.

Шамраев. Помню, в Москве в оперном театре однажды знаменитый Сильва взял нижнее до. А в это время, как нарочно, сидел на галерее бас из наших синодальных певчих, и вдруг, можете себе представить наше крайнее изумление, мы слышим с галереи: «Браво, Сильва!» – целую октавой ниже... Вот этак (низким баском): браво, Сильва... Театр так и замер.

Пауза.

Дорн. Тихий ангел пролетел.

Нина. А мне пора. Прощайте.

Аркадина. Куда? Куда так рано? Мы вас не пустим.

Нина. Меня ждет папа.

Аркадина. Какой он, право... (Целуются.) Ну, что делать. Жаль, жаль вас отпускать.

Нина. Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать!

Аркадина. Вас бы проводил кто-нибудь, моя крошка.

Нина (испуганно). О, нет, нет!

Сорин (ей, умоляюще). Оставайтесь!

Нина. Не могу, Петр Николаевич.

Сорин. Оставайтесь на один час, и всё. Ну что, право...

Нина (подумав, сквозь слезы). Нельзя! (Пожимает руку и быстро уходит.)

Аркадина. Несчастливая девушка в сущности. Говорят, ее покойная мать завещала мужу все свое громадное состояние, все до копейки, и теперь эта девочка осталась ни с чем, так как отец ее уже завещал все своей второй жене. Это возмутительно.

Дорн. Да, ее папенька порядочная таки скотина, надо отдать ему полную справедливость.

Сорин (потирая озябшие руки). Пойдемте-ка, господа, и мы, а то становится сыро. У меня ноги болят.

Аркадина. Они у тебя как деревянные, едва ходят. Ну, пойдем, старик злосчастный. (Берет его под руку.)

Шамраев (подавая руку жене). Мадам?

Сорин. Я слышу, опять воет собака. (Шамраеву.) Будьте добры, Илья Афанасьевич, прикажите отвязать ее.

Шамраев. Нельзя, Петр Николаевич, боюсь, как бы воры в амбар не забрались. Там у

Пьесы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
меня просо. (Идущему рядом Медведенку.) Да, на целую октаву ниже: «Браво, Сильва!» А ведь не певец, простой синодальный певчий.

Медведенко. А сколько жалованья получает синодальный певчий?

Все уходят, кроме Дорна.

Дорн (один). Не знаю, быть может, я ничего не понимаю или сошел с ума, но пьеса мне понравилась. В ней что-то есть. Когда эта девочка говорила об одиночестве и потом, когда показались красные глаза дьявола, у меня от волнения дрожали руки. Свежо, наивно... Вот, кажется, он идет. Мне хочется наговорить ему побольше приятного.

Треплев (входит). Уже нет никого.

Дорн. Я здесь.

Треплев. Меня по всему парку ищет Машенька. Несносное создание.

Дорн. Константин Гаврилович, мне ваша пьеса чрезвычайно понравилась. Странная она какая-то, и конца я не слышал, и все-таки впечатление сильное. Вы талантливый человек, вам надо продолжать.

Треплев крепко жмет ему руку и обнимает порывисто.

Фу, какой нервный. Слезы на глазах... Я что хочу сказать? Вы взяли сюжет из области отвлеченных идей. Так и следовало, потому что художественное произведение непременно должно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что серьезно. Как вы бледны!

Треплев. Так вы говорите – продолжать?

Дорн. Да... Но изображайте только важное и вечное. Вы знаете, я прожил свою жизнь разнообразно и со вкусом, я доволен, но если бы мне пришлось испытать подъем духа, какой бывает у художников во время творчества, то, мне кажется, я презирал бы свою материальную оболочку и все, что этой оболочке свойственно, и уносился бы от земли подальше в высоту.

Треплев. Виноват, где Заречная?

Дорн. И вот еще что. В произведении должна быть ясная, определенная мысль. Вы должны знать, для чего пишете, иначе если пойдете по этой живописной дороге без определенной цели, то вы заблудитесь и ваш талант погубит вас.

Треплев (нетерпеливо). Где Заречная?

Дорн. Она уехала домой.

Треплев (в отчаянии). Что же мне делать? Я хочу ее видеть... Мне необходимо ее видеть... Я поеду...

Маша входит.

Дорн (Треплеву). Успокойтесь, мой друг.

Треплев. Но все-таки я поеду. Я должен поехать.

Маша. Идите, Константин Гаврилович, в дом. Вас ждет ваша мама. Она непокойна.

Треплев. Скажите ей, что я уехал. И прошу вас всех, оставьте меня в покое! Оставьте! Не ходите за мной!

Дорн. Но, но, но, милый... нельзя так... Нехорошо.

Треплев (сквозь слезы). Прощайте, доктор. Благодарю... (Уходит.)

Дорн (вздыхнув). Молодость, молодость!

Маша. Когда нечего больше сказать, то говорят: молодость, молодость... (Нюхает табак.)

Дорн (берет у нее табакерку и швыряет в кусты). Это гадко!

Пауза.

В доме, кажется, играют. Надо идти.

Маша. Погодите.

Дорн. Что?

Маша. Я еще раз хочу вам сказать. Мне хочется поговорить... (Волнуясь.) Я не люблю своего отца... но к вам лежит мое сердце. Почему-то я всею душой чувствую, что вы мне близки... Помогите же мне. Помогите, а то я сделаю глупость, я насмеюсь над своею жизнью, испорчу ее... Не могу дольше...

Дорн. Что? В чем помочь?

Маша. Я страдаю. Никто, никто не знает моих страданий! (Кладет ему голову на грудь, тихо.) Я люблю Константина.

Дорн. Как все нервны! Как все нервны! И сколько любви... О, колдовское озеро! (Нежно.) Но что же я могу сделать, дитя мое? Что? Что?

Занавес

Действие второе

Площадка для крокета. В глубине направо дом с большою террасой, налево видно озеро, в котором, отражаясь, сверкает солнце. Цветники. Полдень. Жарко. Сбоку площадки, в тени старой липы, сидят на скамье Аркадина, Дорн и Маша. У Дорна на коленях раскрытая книга.

Аркадина (Маше). Вот встанемте.

Обе встают.

Станем рядом. Вам двадцать два года, а мне почти вдвое. Евгений Сергеич, кто из нас моложавее?

Дорн. Вы, конечно.

Аркадина. Вот-с... А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы сидите всё на одном месте, не живете... И у меня правило: не заглядывать в будущее. Я никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать.

Маша. А у меня такое чувство, как будто я родилась уже давно-давно; жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф... И часто не бывает никакой охоты жить. (Садится.) Конечно, это все пустяки. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это.

Дорн (напевает тихо). «Расскажите вы ей, цветы мои...» [11]

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Аркадина. Затем, я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut[12]. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефёлой, не распускала себя, как некоторые... (Подбоченясь, прохаживается по площадке.) Вот вам – как цыпочка. Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть.

Дорн. Ну-с, тем не менее все-таки я продолжаю. (Берет книгу.) Мы остановились на лабазнике и крысах...

Аркадина. И крысах. Читайте. (Садится.) Впрочем, дайте мне, я буду читать. Моя очередь. (Берет книгу и ищет в ней глазами.) И крысах... Вот оно... (Читает.) «И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лабазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполнить, она осаждает его посредством комплиментов, любезностей и угождений...» Ну, это у французов, может быть, но у нас ничего подобного, никаких программ. У нас женщина обыкновенно, прежде чем заполнить писателя, сама уже влюблена по уши, сделайте милость. Недалеко ходить, взять хоть меня и Тригорина...

Идет Сорин, опираясь на трость, и рядом с ним Нина; Медведенко катит за ними пустое кресло.

Сорин (тоном, каким ласкают детей). Да? У нас радость? Мы сегодня веселы, в конце концов? (Сестре.) У нас радость! Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны на целых три дня.

Нина (садится рядом с Аркадиной и обнимает ее). Я счастлива! Я теперь принадлежу вам.

Сорин (садится в свое кресло). Она сегодня красивенькая.

Аркадина. Нарядная, интересная... За это вы умница. (Целует Нину.) Но не нужно очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич?

Нина. Он в купальне рыбу удит.

Аркадина. Как ему не надоест! (Хочет продолжать читать.)

Нина. Это вы что?

Аркадина. Мопассан, «На воде», милочка. (Читает несколько строк про себя.) Ну, дальше неинтересно и неверно. (Закрывает книгу.) Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? Отчего он так скучен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его почти совсем не вижу.

Маша. У него нехорошо на душе. (Нине, робко.) Прошу вас, прочтите из его пьесы!

Нина (пожав плечами). Вы хотите? Это так неинтересно!

Маша (сдерживая восторг). Когда он сам читает что-нибудь, то глаза у него горят и лицо становится бледным. У него прекрасный, печальный голос; а манеры как у поэта.

Слышно, как храпит Сорин.

Дорн. Спокойной ночи!

Аркадина. Петруша!

Сорин. А?

Аркадина. Ты спишь?

Сорин. Нисколько.

Пауза.

Аркадина. Ты не лечишься, а это нехорошо, брат.

Сорин. Я рад бы лечиться, да вот доктор не хочет.

Дорн. Лечиться в шестьдесят лет!

Сорин. И в шестьдесят лет жить хочется.

Дорн (досадливо). Э! Ну, принимайте валериановые капли.

Аркадина. Мне кажется, ему хорошо бы поехать куда-нибудь на воды.

Дорн. Что ж? Можно поехать. Можно и не поехать.

Аркадина. Вот и пойми.

Дорн. И понимать нечего. Все ясно.

Пауза.

Медведенко. Петру Николаевичу следовало бы бросить курить.

Сорин. Пустяки.

Дорн. Нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары или рюмки водки вы уже не Петр Николаевич, а Петр Николаевич плюс еще кто-то; у вас расплывается ваше «я», и вы уже относитесь к самому себе как к третьему лицу – он.

Сорин (смеется). Вам хорошо рассуждать. Вы пожили на своем веку, а я? Я прослужил по судебному ведомству 28 лет, но еще не жил, ничего не испытал, в конце концов, и, понятная вещь, жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны и потому имеете склонность к философии, я же хочу жить и потому пью за обедом херес и курю сигары, и всё. Вот и всё.

Дорн. Надо относиться к жизни серьезно, а лечиться в шестьдесят лет, жалеть, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие.

Маша (встает). Завтракать пора, должно быть. (Идет ленивою, вялою походкой.)  
Ногу отсидела... (Уходит.)

Дорн. Пойдет и перед завтраком две рюмочки пропустит.

Сорин. Личного счастья нет у бедняжки.

Дорн. Пустое, ваше превосходительство.

Сорин. Вы рассуждаете как сытый человек.

Аркадина. Ах, что может быть скучнее этой вот милой деревенской скуки! Жарко, тихо, никто ничего не делает, все философствуют... Хорошо с вами, друзья, приятно вас слушать, но... сидеть у себя в номере и учить роль – куда лучше!

Нина (восторженно). Хорошо! Я понимаю вас.

Сорин. Конечно, в городе лучше. Сидишь в своем кабинете, лакей никого не выпускает без доклада, телефон... на улице извозчики, и всё...

Дорн (напевает). «Расскажите вы ей, цветы мои...»

Входит Шамраев, за ним Полина Андреевна.

Шамраев. Вот и наши. Добрый день! (Целует руку у Аркадиной, потом у Нины.) Весьма рад видеть вас в добром здоровье. (Аркадиной.) Жена говорит, что вы собираетесь сегодня ехать с нею вместе в город. Это правда?

Аркадина. Да, мы собираемся.

Шамраев. Гм... Это великолепно, но на чем же вы поедете, многоуважаемая? Сегодня у нас возят рожь, все работники заняты. А на каких лошадях, позвольте вас спросить?

Аркадина. На каких? Почем я знаю – на каких!

Сорин. У нас же выездные есть.

Шамраев (волнуясь). Выездные? А где я возьму хомуты? Где я возьму хомуты? Это удивительно! Это непостижимо! Высокоуважаемая! Извините, я благоговею перед вашим талантом, готов отдать за вас десять лет жизни, но лошадей я вам не могу дать!

Аркадина. Но если я должна ехать? Странное дело!

Шамраев. Многоуважаемая! Вы не знаете, что значит хозяйство!

Аркадина (вспылив). Это старая история! В таком случае я сегодня же уезжаю в Москву. Прикажите нанять для меня лошадей в деревне, а то я уйду на станцию пешком!

Шамраев (вспылив). В таком случае я отказываюсь от места! Ищите себе другого управляющего! (Уходит.)

Аркадина. Каждое лето так, каждое лето меня здесь оскорбляют! Нога моя здесь больше не будет!

Уходит влево, где предполагается купальня; через минуту видно, как она проходит в дом; за нею идет Тригорин с удочками и с ведром.

Сорин (вспылив). Это нахальство! Это черт знает что такое! Мне это надоело, в конце концов. Сейчас же подать сюда всех лошадей!

Нина (Полине Андреевне). Отказать Ирине Николаевне, знаменитой артистке! Разве всякое желание ее, даже каприз, не важнее вашего хозяйства? Просто невероятно!

Полина Андреевна (в отчаянии). Что я могу? Войдите в мое положение: что я могу?

Сорин (Нине). Пойдемте к сестре... Мы все будем умолять ее, чтобы она не уезжала. Не правда ли? (Глядя по направлению, куда ушел Шамраев.) Невыносимый человек! Деспот!

Нина (мешая ему встать). Сидите, сидите... Мы вас довезем...

Она и Медведенко катят кресло.

О, как это ужасно!..

Сорин. Да, да, это ужасно... Но он не уйдет, я сейчас поговорю с ним.

Уходят; остаются только Дорн и Полина Андреевна.



Дорн. Люди скучны. В сущности, следовало бы вашего мужа отсюда просто в шею, а ведь все кончится тем, что эта старая баба Петр Николаевич и его сестра попросят у него извинения. Вот увидите!

Полина Андреевна. Он и выездных лошадей послал в поле. И каждый день такие недоразумения. Если бы вы знали, как это волнует меня! Я заболеваю; видите, я дрожу... Я не выношу его грубости. (Умоляюще.) Евгений, дорогой, ненаглядный, возьмите меня к себе... Время наше уходит, мы уже не молоды, и хоть бы в конце жизни нам не прятаться, не лгать...

Пауза.

Дорн. Мне пятьдесят пять лет, уже поздно менять свою жизнь.

Полина Андреевна. Я знаю, вы отказываете мне, потому что, кроме меня, есть женщины, которые вам близки. Взять всех к себе невозможно. Я понимаю. Простите, я надоела вам.

Нина показывается около дома; она рвет цветы.

Дорн. Нет, ничего.

Полина Андреевна. Я страдаю от ревности. Конечно, вы доктор, вам нельзя избегать женщин. Я понимаю...

Дорн (Нине, которая подходит). Как там?

Нина. Ирина Николаевна плачет, а у Петра Николаевича астма.

Дорн (встает). Пойти дать обоим валериановых капель...

Нина (подает ему цветы). Извольте!

Дорн. Merci bien. (Идет к дому.)

Полина Андреевна (идя с ним). Какие миленькие цветы! (Около дома, глухим голосом.) Дайте мне эти цветы! Дайте мне эти цветы! (Получив цветы, рвет их и бросает в сторону.)

Оба идут в дом.

Нина (одна). Как странно видеть, что известная артистка плачет, да еще по такому пустому поводу! И не странно ли, знаменитый писатель, любимец публики, о нем пишут во всех газетах, портреты его продаются, его переводят на иностранные языки, а он целый день ловит рыбу и радуется, что поймал двух голавлей. Я думала, что известные люди горды, неприступны, что они презирают толпу и свою славу, блеском своего имени как бы мстят ей за то, что она выше всего ставит знатность происхождения и богатство. Но они вот плачут, удят рыбу, играют в карты, смеются и сердятся, как все...

Треплев (входит без шляпы, с ружьем и с убитой чайкой). Вы одни здесь?

Нина. Одна.

Треплев кладет у ее ног чайку.

Что это значит?

Треплев. Я имел подлость убить сегодня эту чайку. Кладу у ваших ног.

Нина. Что с вами? (Поднимает чайку и глядит на нее.)

Треплев (после паузы). Скоро таким же образом я убью самого себя.

Нина. Я вас не узнаю.

Треплев. Да, после того, как я перестал узнавать вас. Вы изменились ко мне, ваш взгляд холоден, мое присутствие стесняет вас.

Нина. В последнее время вы стали раздражительны, выражаетесь все непонятно, какими-то символами. И вот эта чайка тоже, по-видимому, символ, но, простите, я не понимаю... (Кладет чайку на скамью.) Я слишком проста, чтобы понимать вас.

Треплев. Это началось с того вечера, когда так глупо провалилась моя пьеса. Женщины не прощают неуспеха. Я все сжег, все до последнего клочка. Если бы вы знали, как я несчастлив! Ваше охлаждение страшно, невероятно, точно я проснулся и вижу вот, будто это озеро вдруг высохло или утекло в землю. Вы только что сказали, что вы слишком просты, чтобы понимать меня. О, что тут понимать?! Пьеса не понравилась, вы презираете мое вдохновение, уже считаете меня заурядным, ничтожным, каких много... (Топнув ногой.) Как это я хорошо понимаю, как понимаю! У меня в мозгу точно гвоздь, будь он проклят вместе с моим самолюбием, которое сосет мою кровь, сосет, как змея... (Увидев Тригорина, который идет, читая книжку.) Вот идет истинный талант; ступает, как Гамлет, и тоже с книжкой. (Дразнит.) «Слова, слова, слова...» [13] Это солнце еще не подошло к вам, а вы уже улыбаетесь, взгляд ваш растаял в его лучах. Не стану мешать вам. (Уходит быстро.)

Тригорин (записывая в книжку). Нюхает табак и пьет водку... Всегда в черном. Ее любит учитель...

Нина. Здравствуйте, Борис Алексеевич!

Тригорин. Здравствуйте. Обстоятельства неожиданно сложились так, что, кажется, мы сегодня уезжаем. Мы с вами едва ли еще увидимся когда-нибудь. А жаль. Мне приходится не часто встречать молодых девушек, молодых и интересных, я уже забыл и не могу себе ясно представить, как чувствуют себя в 18–19 лет, и потому у меня в повестях и рассказах молодые девушки обыкновенно фальшивы. Я бы вот хотел хоть один час побыть на вашем месте, чтобы узнать, как вы думаете и вообще что вы за штука.

Нина. А я хотела бы побывать на вашем месте.

Тригорин. Зачем?

Нина. Чтобы узнать, как чувствует себя известный талантливый писатель. Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известны?

Тригорин. Как? Должно быть, никак. Об этом я никогда не думал. (Подумав.) Что-нибудь из двух: или вы преувеличиваете мою известность, или же вообще она никак не ощущается.

Нина. А если читаете про себя в газетах?

Тригорин. Когда хвалят, приятно, а когда бранят, то потом два дня чувствуешь себя не в духе.

Нина. Чудный мир! Как я завидую вам, если бы вы знали! Жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование, все похожие друг на друга, все несчастные; другим же, как, например, вам, – вы один из миллиона, – выпала на долю жизнь интересная, светлая, полная значения... Вы счастливы...

Тригорин. Я? (Пожимая плечами.) Гм... Вы вот говорите об известности, о счастье, о какой-то светлой, интересной жизни, а для меня все эти хорошие слова, простите, все равно что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры.

Нина. Ваша жизнь прекрасна!

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Тригорин. Что же в ней особенно хорошего? (Смотрит на часы.) Я должен сейчас идти и писать. Извините, мне некогда... (Смеется.) Вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль, и вот я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни... Ну-с, с чего начнем? (Подумав немного.) Бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает, например, все о луне, и у меня есть своя такая луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль: я должен писать, я должен писать, я должен... Едва кончил повесть, как уже почему-то должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую... Пишу непрерывно, как на перекладных, и иначе не могу. Что же тут прекрасного и светлого, я вас спрашиваю? О, что за дикая жизнь! Вот я с вами, я волнуюсь, а между тем каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вижу вот облако, похожее на рояль. Думаю: надо будет упомянуть где-нибудь в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус: приторный запах, вдовый цвет, упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове и спешу скорее запереть все эти фразы и слова в свою литературную кладовую: авось пригодится! Когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу; тут бы и отдохнуть, забыться, ан – нет, в голове уже ворочается тяжелое чугунное ядро – новый сюжет, и уже тянет к столу, и надо спешить опять писать и писать. И так всегда, всегда, и нет мне покоя от самого себя, и я чувствую, что съедаю собственную жизнь, что для меда, который я отдаю кому-то в пространство, я обираю пыль с лучших своих цветов, рву самые цветы и топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые держат себя со мною как со здоровым? «Что пописываете? Чем нас подарите?» Одно и то же, одно и то же, и мне кажется, что это внимание знакомых, похвалы, восхищение – все это обман, меня обманывают, как больного, и я иногда боюсь, что вот-вот подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как Поприщина[14], в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые, лучшие годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким, лишним, нервы у него напряжены, издерганы; неудержимо бродит он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо и смело глядеть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он представлялся мне недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики, она была страшна мне, и когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, то мне казалось всякий раз, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. О, как это ужасно! Какое это было мучение!

Нина. Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дают вам высоких, счастливых минут?

Тригорин. Да. Когда пишу, приятно. И корректуру читать приятно, но... едва вышло из печати, как я не выношу, и вижу уже, что оно не то, ошибка, что его не следовало бы писать вовсе, и мне досадно, на душе дрянно... (Смеется.) А публика читает: «Да, мило, талантливо... Мило, но далеко до Толстого», или: «Прекрасная вещь, но «Отцы и дети» Тургенева лучше». И так до гробовой доски все будет только мило и талантливо, мило и талантливо – больше ничего, а как умру, знакомые, проходя мимо могилы, будут говорить: «Здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но он писал хуже Тургенева».

Нина. Простите, я отказываюсь понимать вас. Вы просто избалованы успехом.

Тригорин. Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду и часто не понимаю, что я пишу... Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и прочее и прочее, и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами, вижу, что жизнь и наука всё уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив, и фальшив до мозга костей.

Нина. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Пусть вы недовольны собою, но для других вы велики и прекрасны! Если бы я была таким писателем, как вы, то я отдала бы толпе всю свою жизнь, но сознавала бы, что счастье ее только в том, чтобы возвышаться до меня, и она возила бы меня на

колеснице.

Тригорин. Ну, на колеснице... Агамемнон я, что ли?

Оба улыбнулись.

Нина. За такое счастье, как быть писательницей или артисткой, я перенесла бы нелюбовь близких, нужду, разочарование, я жила бы под крышей и ела бы только ржаной хлеб, страдала бы от недовольства собою, от сознания своих несовершенств, но зато бы уж я потребовала славы... настоящей, шумной славы... (Закрывает лицо руками.) Голова кружится... Уф!..

Голос Аркадиной (из дому): «Борис Алексеевич!»

Тригорин. Меня зовут... Должно быть, укладываться. А не хочется уезжать. (Оглядывается на озеро.) Ишь ведь какая благодать!.. Хорошо!

Нина. Видите на том берегу дом и сад?

Тригорин. Да.

Нина. Это усадьба моей покойной матери. Я там родилась. Я всю жизнь провела около этого озера и знаю на нем каждый островок.

Тригорин. Хорошо у вас тут! (Увидев чайку.) А это что?

Нина. Чайка. Константин Гаврилыч убил.

Тригорин. Красивая птица. Право, не хочется уезжать. Вот уговорите-ка Ирину Николаевну, чтобы она осталась. (Записывает в книжку.)

Нина. Что это вы пишете?

Тригорин. Так, записываю... Сюжет мелькнул... (Пряча книжку.) Сюжет для небольшого рассказа: на берегу озера с детства живет молодая девушка, такая, как вы; любит озеро, как чайка, и счастлива и свободна, как чайка. Но случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил ее, как вот эту чайку.

Пауза.

В окне показывается Аркадина.

Аркадина. Борис Алексеевич, где вы?

Тригорин. Сейчас! (Идет и оглядывается на Нину; у окна, Аркадиной.) Что?

Аркадина. Мы остаемся.

Тригорин уходит в дом.

Нина (подходит к рампе; после некоторого раздумья). Сон!

Занавес

Действие третье

Столовая в доме Сорина. Направо и налево двери. Буфет. Шкап с лекарствами. Посреди комнаты стол. Чемодан и картонки; заметны приготовления к отъезду.

Тригорин завтракает, Маша стоит у стола.

Маша. Все это я рассказываю вам как писателю. Можете воспользоваться. Я вам по совести: если бы он ранил себя серьезно, то я не стала бы жить ни одной минуты. А все же я храбрая. Вот взяла и решила: вырву эту любовь из своего сердца, с корнем вырву.

Тригорин. Каким же образом?

Маша. Замуж выхожу. За Медведенка.

Тригорин. Это за учителя?

Маша. Да.

Тригорин. Не понимаю, какая надобность.

Маша. Любить безнадежно, целые годы все ждать чего-то... А как выйду замуж, будет уже не до любви, новые заботы заглушат все старое. И все-таки, знаете ли, перемена. Не повторить ли нам?

Тригорин. А не много ли будет?

Маша. Ну, вот! (Наливает по рюмке.) Вы не смотрите на меня так. Женщины пьют чаще, чем вы думаете. Меньшинство пьет открыто, как я, а большинство тайно. Да. И всё водку или коньяк. (Чокается.) Желаю вам! Вы человек простой, жалко с вами расставаться.

Пьют.

Тригорин. Мне самому не хочется уезжать.

Маша. А вы попросите, чтобы она осталась.

Тригорин. Нет, теперь не останется. Сын ведет себя крайне бестактно. То стрелялся, а теперь, говорят, собирается меня на дуэль вызвать. А чего ради? Дуется, фыркает, проповедует новые формы... Но ведь всем хватит места, и новым и старым, – зачем толкаться?

Маша. Ну и ревность. Впрочем, это не мое дело.

Пауза.

Яков проходит слева направо с чемоданом; входит Нина и останавливается у окна.

Мой учитель не очень-то умен, но добрый человек и бедняк, и меня сильно любит. Его жалко. И его мать-старушку жалко. Ну-с, позвольте пожелать вам всего хорошего. Не поминайте лихом. (Крепко пожимает руку.) Очень вам благодарна за ваше доброе расположение. Пришлите же мне ваши книжки, непременно с автографом. Только не пишите «многоуважаемой», а просто так: «Марье, родства не помнящей, неизвестно для чего живущей на этом свете». Прощайте! (Уходит.)

Нина (протягивая в сторону Тригорина руку, сжатую в кулак). Чёт или нечет?

Тригорин. Чёт.

Нина (вздыхнув). Нет. У меня в руке только одна горошина. Я загадала: идти мне в актрисы или нет? Хоть бы посоветовал кто.

Тригорин. Тут советовать нельзя.

Пауза.

Нина. Мы расстаемся и... пожалуй, более уже не увидимся. Я прошу вас принять от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала вырезать ваши инициалы... а с этой стороны название вашей книжки: «Дни и ночи».

Тригорин. Как грациозно! (Целует медальон.) Прелестный подарок!

Нина. Иногда вспоминайте обо мне.

Тригорин. Я буду вспоминать. Я буду вспоминать вас, какую вы были в тот ясный день – помните? – неделю назад, когда вы были в светлом платье... мы разговаривали... еще тогда на скамье лежала белая чайка.

Нина (задумчиво). Да, чайка...

Пауза.

Больше нам говорить нельзя, сюда идут... Перед отъездом дайте мне две минуты, умоляю вас... (Уходит влево.)

Одновременно входят справа Аркадина, Сорин во фраке со звездой, потом Яков, озабоченный укладкой.

Аркадина. Оставайся-ка, старик, дома. Тебе ли с твоим ревматизмом разъезжать по гостям? (Тригорину.) Это кто сейчас вышел? Нина?

Тригорин. Да.

Аркадина. Pardon, мы помешали... (Садится.) Кажется, все уложила. Замучилась.

Тригорин (читает на медальоне). «Дни и ночи», страница 121, строки 11 и 12.

Яков (убирая со стола). Удочки тоже прикажете уложить?

Тригорин. Да, они мне еще понадобятся. А книги отдай кому-нибудь.

Яков. Слушаю.

Тригорин (про себя). Страница 121, строки 11 и 12. Что же в этих строках? (Аркадиной.) Тут в доме есть мои книжки?

Аркадина. У брата в кабинете, в угловом шкапу.

Тригорин. Страница 121... (Уходит.)

Аркадина. Право, Петруша, остался бы дома...

Сорин. Вы уезжаете, без вас мне будет тяжело дома.

Аркадина. А в городе что же?

Сорин. Особенно ничего, но все же. (Смеется.) Будет закладка земского дома и все такое... Хочется хоть на час-другой воспрянуть от этой пискариной жизни, а то очень уж я залежался, точно старый мундштук. Я приказал подавать лошадей к часу, в одно время и выедем.

Аркадина (после паузы). Ну, живи тут, не скучай, не простуживайся. Наблюдай за сыном. Береги его. Наставляй.

Пауза.

Вот уеду, так и не буду знать, отчего стрелялся Константин. Мне кажется, главной причиной была ревность, и чем скорее я увезу отсюда Тригорина, тем лучше.

Сорин. Как тебе сказать? Были и другие причины. Понятная вещь, человек молодой, умный, живет в деревне, в глуши, без денег, без положения, без будущего. Никаких занятий. Стыдится и боится своей праздности. Я его чрезвычайно люблю, и он ко мне привязан, но все же, в конце концов, ему кажется, что он лишний в доме, что он тут нахлебник, приживал. Понятная вещь, самолюбие...

Аркадина. Горе мне с ним! (В раздумье.) Поступить бы ему на службу, что ли...

Сорин (насвистывает, потом нерешительно). Мне кажется, было бы самое лучшее, если бы ты... дала ему немного денег. Прежде всего ему нужно одеться по-человечески, и всё. Посмотри, один и тот же сюртучишко он таскает три года, ходит без пальто... (Смеется.) Да и погулять малому не мешало бы... Поехать за границу, что ли... Это ведь не дорого стоит.

Аркадина. Все-таки... Пожалуй, на костюм я еще могу, но чтоб за границу... Нет, в настоящее время и на костюм не могу. (Решительно.) Нет у меня денег!

Сорин смеется.

Нет!

Сорин (насвистывает). Так-с. Прости, милая, не сердись. Я тебе верю... Ты великодушная, благородная женщина.

Аркадина (сквозь слезы). Нет у меня денег!

Сорин. Будь у меня деньги, понятная вещь, я бы сам дал ему, но у меня ничего нет, ни пятак. (Смеется.) всю мою пенсию у меня забирает управляющий и тратит на земледелие, скотоводство, пчеловодство, и деньги мои пропадают даром. Пчелы дохнут, коровы дохнут, лошадей мне никогда не дают...

Аркадина. Да, у меня есть деньги, но ведь я артистка; одни туалеты разорили совсем.

Сорин. Ты добрая, милая... Я тебя уважаю... Да... Но опять со мною что-то того... (Пошатывается.) Голова кружится. (Держится за стол.) Мне дурно, и всё.

Аркадина (испуганно). Петруша! (Стараясь поддержать его.) Петруша, дорогой мой... (Кричит.) Помогите мне! Помогите!..

Входят Треплев с повязкой на голове, Медведенко.

Ему дурно!

Сорин. Ничего, ничего... (Улыбается и пьет воду.) Уже прошло... и всё...

Треплев (матери). Не пугайся, мама, это не опасно. С дядей теперь это часто бывает. (Дяде.) Тебе, дядя, надо полежать.

Сорин. Немножко, да... А все-таки в город я поеду... Полежу и поеду... понятная вещь... (Идет, опираясь на трость.)

Медведенко (ведет его под руку). Есть загадка: утром на четырех, в полдень на двух, вечером на трех...

Сорин (смеется). Именно. А ночью на спине. Благодарю вас, я сам могу идти...

Медведенко. Ну вот, церемонии!..

Он и Сорин уходят.

Аркадина. Как он меня напугал!

Треплев. Ему нездорово жить в деревне. Тоскует. Вот если бы ты, мама, вдруг расщедрилась и дала ему займы тысячи полторы-две, то он мог бы прожить в городе целый год.

Аркадина. У меня нет денег. Я актриса, а не банкирша.

Пауза.

Треплев. Мама, перемени мне повязку. Ты это хорошо делаешь.

Аркадина (достает из аптечного шкапа йодоформ и ящик с перевязочным материалом). А доктор опоздал.

Треплев. Обещал быть к десяти, а уже полдень.

Аркадина. Садись. (Снимает у него с головы повязку.) Ты как в чалме. Вчера один приезжий спрашивал на кухне, какой ты национальности. А у тебя почти совсем зажило. Остались самые пустяки. (Целует его в голову.) А ты без меня опять не сделаешь чик-чик?

Треплев. Нет, мама. То была минута безумного отчаяния, когда я не мог владеть собою. Больше это не повторится. (Целует ей руку.) У тебя золотые руки. Помню, очень давно, когда ты еще служила на казенной сцене, – я тогда был маленьким, – у нас во дворе была драка, сильно побили жилищу-прачку. Помнишь? Ее подняли без чувств... ты все ходила к ней, носила лекарства, мыла в корыте ее детей. Неужели не помнишь?

Аркадина. Нет. (Накладывает новую повязку.)

Треплев. Две балерины жили тогда в том же доме, где мы... Ходили к тебе кофе пить...

Аркадина. Это помню.

Треплев. Богомольные они такие были.

Пауза.

В последнее время, вот в эти дни, я люблю тебя так же нежно и беззаветно, как в детстве. Кроме тебя, теперь у меня никого не осталось. Только зачем, зачем между мной и тобой стал этот человек.

Аркадина. Ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность...

Треплев. Однако, когда ему доложили, что я собираюсь вызвать его на дуэль, благородство не помешало ему сыграть труса. Уезжает. Позорное бегство!

Аркадина. Какой вздор! Я сама увожу его отсюда. Наша близость, конечно, не может тебе нравиться, но ты умен и интеллигентен, я имею право требовать от тебя, чтобы ты уважал мою свободу.

Треплев. Я уважаю твою свободу, но и ты позволь мне быть свободным и относиться к этому человеку как я хочу. Благороднейшая личность! Вот мы с тобою почти ссоримся из-за него, а он теперь где-нибудь в гостиной или в саду смеется надо мной и над тобой, развивает Нину, старается окончательно убедить ее, что он гений.

Аркадина. Для тебя наслаждение говорить мне неприятности. Я уважаю этого человека и прошу при мне не выражаться о нем дурно.



Треплев. А я не уважаю. Ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением, но, прости, я лгать не умею, от его произведений мне претит.

Аркадина. Это зависть. Людям не талантливым, но с претензиями, ничего больше не остается, как порицать настоящие таланты. Нечего сказать, утешение!

Треплев (иронически). Настоящие таланты! (Гневно.) Я талантливее вас всех, коли на то пошло! (Срывает с головы повязку.) Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите! Не признаю я вас! Не признаю ни тебя, ни его!

Аркадина. Декадент!..

Треплев. Отправляйся в свой милый театр и играй там в жалких, бездарных пьесах!

Аркадина. Никогда я не играла в таких пьесах. Оставь меня! Ты и жалкого водевиля написать не в состоянии. Киевский мещанин! Приживал!

Треплев. Скрыга!

Аркадина. Оборвыш!

Треплев садится и тихо плачет.

Ничтожество! (Пройдясь в волнении.) Не плачь. Не нужно плакать... (Плачет.) Не надо... (Целует его в лоб, в щеки, в голову.) Милое мое дитя, прости... Прости свою грешную мать. Прости меня, несчастную.

Треплев (обнимает ее.) Если бы ты знала! Я все потерял. Она меня не любит, я уже не могу писать... пропали все надежды...

Аркадина. Не отчаивайся... Все обойдется. Я сейчас увезу его, она опять тебя полюбит. (Утирает ему слезы.) Будет. Мы уже помирились.

Треплев (целует ей руки). Да, мама.

Аркадина (нежно). Помиришь и с ним. Не надо дуэли... Ведь не надо?

Треплев. Хорошо... Только, мама, позволь мне не встречаться с ним. Мне это тяжело... выше сил... (Входит Тригорин.) Вот... Я выйду... (Быстро убирает в шкаф лекарства.) А повязку уже доктор сделает...

Тригорин (ищет в книжке). Страница 121... строки 11 и 12... Вот... (Читает.) «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее».

Треплев подбирает с полу повязку и уходит.

Аркадина (поглядев на часы). Скоро лошадей подадут.

Тригорин (про себя). Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее.

Аркадина. У тебя, надеюсь, все уже уложено?

Тригорин (нетерпеливо). Да, да... (В раздумье.) Отчего в этом призыве чистой души послышалась мне печаль и мое сердце так болезненно сжалось?... Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. (Аркадиной.) Останемся еще на один день!

Аркадина отрицательно качает головой.

Останемся!

Аркадина. Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь. Но имей над собою власть. Ты немного опьянел, отрезвись.

Тригорин. Будь ты тоже трезва, будь умна, рассудительна, умоляю тебя, взгляни на все это как истинный друг... (Жмет ей руку.) Ты способна на жертвы... Будь моим другом, отпусти меня...

Аркадина (в сильном волнении). Ты так увлечен?

Тригорин. Меня манит к ней! Быть может, это именно то, что мне нужно.

Аркадина. Любовь провинциальной девочки? О, как ты мало себя знаешь!

Тригорин. Иногда люди спят на ходу, так вот я говорю с тобою, а сам будто сплю и вижу ее во сне... Мною овладели сладкие, дивные мечты... Отпусти...

Аркадина (дрожа). Нет, нет... Я обыкновенная женщина, со мною нельзя говорить так... Не мучай меня, Борис... Мне страшно...

Тригорин. Если захочешь, ты можешь быть необыкновенною. Любовь юная, прелестная, поэтическая, уносящая в мир грёз, – на земле только она одна может дать счастье! Такой любви я не испытал еще... В молодости было некогда, я обивал пороги редакций, боролся с нуждой... Теперь вот она, эта любовь, пришла наконец, манит... Какой же смысл бежать от нее?

Аркадина (с гневом). Ты сошел с ума!

Тригорин. И пускай.

Аркадина. Вы все сговорились сегодня мучить меня! (Плачет.)

Тригорин (берет себя за голову). Не понимает! Не хочет понять!

Аркадина. Неужели я уже так стара и безобразна, что со мною можно, не стесняясь, говорить о других женщинах? (Обнимает его и целует.) О, ты обезумел! Мой прекрасный, дивный... Ты, последняя страница моей жизни! (Становится на колени.) Моя радость, моя гордость, мое блаженство... (Обнимает его колени.) Если ты покинешь меня, хотя на один час, то я не переживу, сойду с ума, мой изумительный, великолепный, мой повелитель...

Тригорин. Сюда могут войти. (Помогает ей встать.)

Аркадина. Пусть, я не стыжусь моей любви к тебе. (Целует ему руки.) Сокровище мое, отчаянная голова, ты хочешь безумствовать, но я не хочу, не пушу... (Смеется.) Ты мой... ты мой... И этот лоб мой, и глаза мои, и эти прекрасные шелковистые волосы тоже мои... Ты весь мой. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей, ты единственная надежда России... У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора... Ты можешь одним штрихом передать главное, что характерно для лица или пейзажа, люди у тебя как живые. О, тебя нельзя читать без восторга! Ты думаешь, это фимиам? Я льщу? Ну, посмотри мне в глаза... посмотри... Похожа я на лгуницу? Вот и видишь, я одна умею ценить тебя; одна говорю тебе правду, мой милый, чудный... Поедешь? Да? Ты меня не покинешь?...

Тригорин. У меня нет своей воли... У меня никогда не было своей воли... Вялый, рыхлый, всегда покорный – неужели это может нравиться женщине? Бери меня, увози, но только не отпускай от себя ни на шаг...

Аркадина (про себя). Теперь он мой. (Развязно, как ни в чем не бывало.) Впрочем, если хочешь, можешь остаться. Я уеду сама, а ты приедешь потом, через неделю. В самом деле, куда тебе спешить?

Тригорин. Нет, уж поедем вместе.

Аркадина. Как хочешь. Вместе так вместе...

Пауза.

Тригорин записывает в книжку.

Что ты?

Тригорин. Утром слышал хорошее выражение: «Девичий бор»... Пригодится. (Потягивается.) Значит, ехать? Опять вагоны, станции, буфеты, отбивные котлеты, разговоры...

Шамраев (входит). Имею честь с прискорбием заявить, что лошади поданы. Пора уже, многоуважаемая, ехать на станцию; поезд приходит в два и пять минут. Так вы же, Ирина Николаевна, сделайте милость, не забудьте навести справочку: где теперь актер Суздальцев? Жив ли? Здоров ли? Вместе пивали когда-то... В «Ограбленной почте» [15] играл неподражаемо... С ним тогда, помню, в Елисаветграде служил трагик Измайлов, тоже личность замечательная... Не торопитесь, многоуважаемая, пять минут еще можно. Раз в одной мелодраме они играли заговорщиков, и когда их вдруг накрыли, то надо было сказать: «Мы попали в западню», а Измайлов – «Мы попали в запендю»... (Хохочет.) Запендю!..

Пока он говорит, Яков хлопчет около чемоданов, горничная приносит Аркадиной шляпу, манто, зонтик, перчатки; все помогают Аркадиной одеться. Из левой двери выглядывает повар, который немного погодя входит нерешительно. Входит Полина Андреевна, потом Сорин и Медведенко.

Полина Андреевна (с корзиночкой). Вот вам слив на дорогу... Очень сладкие. Может, захотите полакомиться...

Аркадина. Вы очень добры, Полина Андреевна.

Полина Андреевна. Прощайте, моя дорогая! Если что было не так, то простите. (Плачет.)

Аркадина (обнимает ее). Все было хорошо, все было хорошо. Только вот плакать не нужно.

Полина Андреевна. Время наше уходит!

Аркадина. Что же делать!

Сорин (в пальто с пелериной, в шляпе, с палкой, выходит из левой двери; проходя через комнату). Сестра, пора, как бы не опоздать, в конце концов. Я иду садиться. (Уходит.)

Медведенко. А я пойду пешком на станцию... Провожать. Я живо... (Уходит.)

Аркадина. До свиданья, мои дорогие... Если будем живы и здоровы, летом опять увидимся...

Горничная, Яков и повар целуют у нее руку.

Не забывают меня. (Подает повару рубль.) Вот вам рубль на троих.

Повар. Покорнейше благодарим, барыня. Счастливой вам дороги! Много вами довольны!

Яков. Дай Бог час добрый!

Шамраев. Письмецом бы осчастливили! Прощайте, Борис Алексеевич!

Аркадина. Где Константин? Скажите ему, что я уезжаю. Надо проститься. Ну, не поминайте лихом. (Якову.) Я дала рубль повару. Это на троих.

Все уходят вправо. Сцена пуста. За сценой шум, какой бывает, когда провожают. Горничная возвращается, чтобы взять со стола корзину со сливами, и опять уходит.

Тригорин (возвращаясь). Я забыл свою трость. Она, кажется, там, на террасе.

Идет и у левой двери встречается с Ниной, которая входит.

Это вы? Мы уезжаем...

Нина. Я чувствовала, что мы еще увидимся. (Возбужденно.) Борис Алексеевич, я решила бесповоротно, жребий брошен, я поступаю на сцену. Завтра меня уже не будет здесь, я уйду от отца, покидаю все, начинаю новую жизнь... Я уезжаю, как и вы... в Москву. Мы увидимся там.

Тригорин (оглянувшись). Остановитесь в «Славянском базаре»... Дайте мне тотчас же знать... Молчановка, дом Грохольского... Я тороплюсь...

Пауза.

Нина. Еще одну минуту...

Тригорин (вполголоса). Вы так прекрасны... О, какое счастье думать, что мы скоро увидимся!

Она склоняется к нему на грудь.

Я опять увижу эти чудные глаза, невыразимо прекрасную, нежную улыбку... эти кроткие черты, выражение ангельской чистоты... Дорогая моя...

Продолжительный поцелуй.

Занавес

Между третьим и четвертым действием проходит два года.

Действие четвертое

Одна из гостиных в доме Сорина, обращенная Константином Треплевым в рабочий кабинет. Направо и налево двери, ведущие во внутренние покои. Прямо стеклянная дверь на террасу. Кроме обычной гостиной мебели, в правом углу письменный стол, возле левой двери турецкий диван, шкаф с книгами, книги на окнах, на стульях. Вечер. Горит одна лампа под колпаком. Полумрак. Слышно, как шумят деревья и воет ветер в трубах.

Стучит сторож. Медведенко и Маша входят.

Маша (окликает). Константин Гаврилыч! Константин Гаврилыч! (Осматриваясь.) Нет никого. Старик каждую минуту все спрашивает, где Костя, где Костя... Жить без него не может...

Медведенко. Боится одиночества. (Прислушиваясь.) Какая ужасная погода! Это уже

вторые сутки.

Маша (припускает огня в лампе). На озере волны. Громadne.

Медведенко. В саду темно. Надо бы сказать, чтобы сломали в саду тот театр. Стоит голый, безобразный, как скелет, и занавеска от ветра хлопает. Когда я вчера вечером проходил мимо, то мне показалось, будто кто в нем плакал.

Маша. Ну, вот...

Пауза.

Медведенко. Поедем, Маша, домой!

Маша (качает отрицательно головой). Я здесь останусь ночевать.

Медведенко (умоляюще). Маша, поедem! Наш ребеночек небось голоден.

Маша. Пустяки. Его Матрена покормит.

Пауза.

Медведенко. Жалко. Уже третью ночь без матери.

Маша. Скучный ты стал. Прежде, бывало, хоть пофилософствуешь, а теперь все ребенок, домой, ребенок, домой, – и больше от тебя ничего не услышишь.

Медведенко. Поедем, Маша!

Маша. Поезжай сам.

Медведенко. Твой отец не даст мне лошади.

Маша. Даст. Ты попроси, он и даст.

Медведенко. Пожалуй, попрошу. Значит, ты завтра приедешь?

Маша (нюхает табак). Ну, завтра. Пристал...

Входят Треплев и Полина Андреевна; Треплев принес подушки и одеяло, а Полина Андреевна постельное белье; кладут на турецкий диван, затем Треплев идет к своему столу и садится.

Зачем это, мама?

Полина Андреевна. Петр Николаевич просил постлать ему у Кости.

Маша. Давайте я... (Постилает постель.)

Полина Андреевна (вздохнув). Старый что малый... (Подходит к письменному столу и, облокотившись, смотрит в рукопись.)

Пауза.

Медведенко. Так я пойду. Прощай, Маша. (Целует у жены руку.) Прощайте, мамаша. (Хочет поцеловать руку у тещи.)

Полина Андреевна (досадливо). Ну! Иди с Богом.

Медведенко. Прощайте, Константин Гаврилыч.

Треплев молча подает руку; Медведенко уходит.

Полина Андреевна (глядя в рукопись). Никто не думал и не гадал, что из вас, Костя, выйдет настоящий писатель. А вот, слава Богу, и деньги стали вам присылать из журналов. (Проводит рукой по его волосам.) И красивый стал... Милый Костя, хороший, будьте поласковее с моей Машенькой!..

Маша (постилая). Оставьте его, мама.

Полина Андреевна (Треплеву). Она славненькая.

Пауза.

Женщине, Костя, ничего не нужно, только взгляни на нее ласково. По себе знаю.

Треплев встает из-за стола и молча уходит.

Маша. Вот и рассердили. Надо было приставать!

Полина Андреевна. Жалко мне тебя, Машенька.

Маша. Очень нужно!

Полина Андреевна. Сердце мое за тебя переболело. Я ведь все вижу, все понимаю.

Маша. Все глупости. Безднадежная любовь – это только в романах. Пустяки. Не нужно только распускать себя и все чего-то ждать, ждать у моря погоды... Раз в сердце завелась любовь, надо ее вон. Вот обещали перевести мужа в другой уезд. Как переедем туда – все забуду... с корнем из сердца вырву.

Через две комнаты играют меланхолический вальс.

Полина Андреевна. Костя играет. Значит, тоскует.

Маша (делает бесшумно два-три тура вальса). Главное, мама, перед глазами не видеть. Только бы дали моему Семену перевод, а там, поверьте, в один месяц забуду. Пустяки все это.

Открывается левая дверь, Дорн и Медведенко катят в кресле Сорина.

Медведенко. У меня теперь в доме шестеро. А мука семь гривен пуд.

Дорн. Вот тут и вертись.

Медведенко. Вам хорошо смеяться. Денег у вас куры не клюют.

Дорн. Денег? За тридцать лет практики, мой друг, беспокойной практики, когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, мне удалось скопить только две тысячи, да и те я прожил недавно за границей. У меня ничего нет.

Маша (мужу). Ты не уехал?

Медведенко (виновато). Что ж? Когда не дают лошади!

Маша (с горькою досадой, вполголоса). Глаза бы мои тебя не видели!

Кресло останавливается в левой половине комнаты; Полина Андреевна, Маша и Дорн садятся возле; Медведев, опечаленный, отходит в сторону.

Дорн. Сколько у вас перемен, однако! Из гостиной сделали кабинет.

Маша. Здесь Константину Гаврилычу удобнее работать. Он может когда угодно выходить в сад и там думать.

Стучит сторож.

Сорин. Где сестра?

Дорн. Поехала на станцию встречать Тригорина. Сейчас вернется.

Сорин. Если вы нашли нужным выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. (Помолчав.) Вот история, я опасно болен, а между тем мне не дают никаких лекарств.

Дорн. А чего вы хотите? Валериановых капель? Соды? Хины?

Сорин. Ну, начинается философия. О, что за наказание! (Кивнув головой на диван.) Это для меня послано?

Полина Андреевна. Для вас, Петр Николаевич.

Сорин. Благодарю вас.

Дорн (напевает). «Месяц плывет по ночным небесам...» [16]

Сорин. Вот хочу дать Косте сюжет для повести. Она должна называться так: «Человек, который хотел». «L'homme qui a voulu». В молодости когда-то хотел я сделаться литератором – и не сделался; хотел красиво говорить – и говорил отвратительно (дразнит себя): «и всё, и всё такое, того, не того»... и, бывало, резюме везешь, везешь, даже в пот ударит; хотел жениться – и не женился; хотел всегда жить в городе – и вот кончаю свою жизнь в деревне, и всё.

Дорн. Хотел стать действительным статским советником – и стал.

Сорин (смеется). К этому я не стремился. Это вышло само собою.

Дорн. Выражать недовольство жизнью в шестьдесят два года, согласитесь, – это не великодушно.

Сорин. Какой упрямец. Поймите, жить хочется!

Дорн. Это легкомыслие. По законам природы, всякая жизнь должна иметь конец.

Сорин. Вы рассуждаете как сытый человек. Вы сыты и потому равнодушны к жизни, вам все равно. Но умирать и вам будет страшно.

Дорн. Страх смерти – животный страх... Надо подавлять его. Сознательно бояться смерти только верующие в вечную жизнь, которым страшно бывает своих грехов. А вы, во-первых, неверующий, во-вторых – какие у вас грехи? Вы двадцать пять лет прослужили по судебному ведомству – только всего.

Сорин (смеется). Двадцать восемь...

Входит Треплев и садится на скамеечке у ног Сорина. Маша все время не отрывает от него глаз.

Дорн. Мы мешаем Константину Гавриловичу работать.

Треплев. Нет, ничего.

Пауза.

Медведеenko. Позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился?

Дорн. Генуя.

Треплев. Почему Генуя?

Дорн. Там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии, живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа, вроде той, которую когда-то в вашей пьесе играла Нина Заречная. Кстати, где теперь Заречная? Где она и как?

Треплев. Должно быть, здорова.

Дорн. Мне говорили, будто она повела какую-то особенную жизнь. В чем дело?

Треплев. Это, доктор, длинная история.

Дорн. А вы покороче.

Пауза.

Треплев. Она убежала из дому и сошлась с Тригориным. Это вам известно?

Дорн. Знаю.

Треплев. Был у нее ребенок. Ребенок умер. Тригорин разлюбил ее и вернулся к своим прежним привязанностям, как и следовало ожидать. Впрочем, он никогда не покидал прежних, а по бесхарактерности как-то ухитрился и тут и там. Насколько я мог понять из того, что мне известно, личная жизнь Нины не удалась совершенно.

Дорн. А сцена?

Треплев. Кажется, еще хуже. Дебютировала она под Москвой в дачном театре, потом уехала в провинцию. Тогда я не упускал ее из виду и некоторое время куда она, туда и я. Бралась она все за большие роли, но играла грубо, безвкусно, с завываниями, с резкими жестами. Бывали моменты, когда она талантливо вскрикивала, талантливо умирала, но это были только моменты.

Дорн. Значит, все-таки есть талант?

Треплев. Понять было трудно. Должно быть, есть. Я ее видел, но она не хотела меня видеть, и прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение и не настаивал на свидании.

Пауза.

Что же вам еще сказать? Потом я, когда уже вернулся домой, получал от нее письма. Письма умные, теплые, интересные; она не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна; что ни строчка, то больной, натянутый нерв. И воображение немного расстроено. Она подписывалась Чайкой. В «Русалке» мельник говорит, что он ворон[17], так она в письмах все повторяла, что она чайка. Теперь она здесь.

Дорн. То есть как – здесь?

Треплев. В городе, на постоялом дворе. Уже дней пять как живет там в номере. Я



было поехал к ней, и вот Марья Ильинишна ездила, но она никого не принимает. Семен Семенович уверяет, будто вчера после обеда видел ее в поле, в двух верстах отсюда.

Медведенко. Да, я видел. Шла в ту сторону, к городу. Я поклонился, спросил, отчего не идет к нам в гости. Она сказала, что придет.

Треплев. Не придет она.

Пауза.

Отец и мачеха не хотят ее знать. Везде расставили сторожей, чтобы даже близко не допускать ее к усадьбе. (Отходит с доктором к письменному столу.) Как легко, доктор, быть философом на бумаге и как это трудно на деле!

Сорин. Прелестная была девушка.

Дорн. Что-с?

Сорин. Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский советник Сорин был даже в нее влюблен некоторое время.

Дорн. Старый ловелас.

Слышен смех Шамраева.

Полина Андреевна. Кажется, наши приехали со станции...

Треплев. Да, я слышу маму.

Входят Аркадина, Тригорин, за ними Шамраев.

Шамраев (входя). Мы все стареем, выветриваемся под влиянием стихий, а вы, многоуважаемая, все еще молоды.. Светлая кофточка, живость... грация...

Аркадина. Вы опять хотите сглазить меня, скучный человек!

Тригорин (Сорину). Здравствуйте, Петр Николаевич! Что это вы все хвораете? Нехорошо! (Увидев Машу, радостно.) Марья Ильинична!

Маша. Узнали? (Жмет ему руку.)

Тригорин. Замужем?

Маша. Давно.

Тригорин. Счастливы? (Раскланивается с Дорном и с Медведенком, потом нерешительно подходит к Треплеву.) Ирина Николаевна говорила, что вы уже забыли старое и перестали гневаться.

Треплев протягивает ему руку.

Аркадина (сыну). Вот Борис Алексеевич привез журнал с твоим новым рассказом.

Треплев (принимая книгу, Тригорину). Благодарю вас. Вы очень любезны.

Садятся.

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Тригорин. Вам шлют поклон ваши почитатели... В Петербурге и в Москве вообще заинтересованы вами, и меня всё спрашивают про вас. Спрашивают: какой он, сколько лет, брюнет или блондин. Думают все почему-то, что вы уже немолоды. И никто не знает вашей настоящей фамилии, так как вы печаетесь под псевдонимом. Вы таинственны, как Железная маска.

Треплев. Надолго к нам?

Тригорин. Нет, завтра же думаю в Москву. Надо. Тороплюсь кончить повесть и затем еще обещал дать что-нибудь в сборник. Одним словом – старая история.

Пока они разговаривают, Аркадина и Полина Андреевна ставят среди комнаты ломберный стол и раскрывают его; Шамраев зажигает свечи, ставит стулья. Достают из шкапа лото.

Погода встретила меня неласково. Ветер жестокий. Завтра утром, если утихнет, отправлюсь на озеро удить рыбу. Кстати, надо осмотреть сад и то место, где – помните? – играли вашу пьесу. У меня созрел мотив, надо только возобновить в памяти место действия.

Маша (отцу). Папа, позволь мужу взять лошадь! Ему нужно домой.

Шамраев (дразнит). Лошадь... домой... (Строго.) Сама видела: сейчас посылали на станцию. Не гонять же опять.

Маша. Но ведь есть другие лошади... (Видя, что отец молчит, машет рукой.) С вами связываться...

Медведенко. Я, Маша, пешком пойду. Право...

Полина Андреевна (вздыхнув). Пешком, в такую погоду... (Садится за ломберный стол.) Пожалуйте, господа.

Медведенко. Ведь всего только шесть верст... Прощай... (Целует жене руку.) Прощайте, мамаша.

Теща нехотя протягивает ему для поцелуя руку.

Я бы никого не беспокоил, но ребеночек... (Кланяется всем.) Прощайте... (Уходит; походка виноватая.)

Шамраев. Небось дойдет. Не генерал.

Полина Андреевна (стучит по столу). Пожалуйте, господа. Не будем терять времени, а то скоро ужинать позовут.

Шамраев, Маша и Дорн садятся за стол.

Аркадина (Тригорину). Когда наступают длинные осенние вечера, здесь играют в лото. Вот взгляните: старинное лото, в которое еще играла с нами покойная мать, когда мы были детьми. Не хотите ли до ужина сыграть с нами партию? (Садится с Тригориним за стол.) Игра скучная, но если привыкнуть к ней, то ничего. (Сдает всем по три карты.)

Треплев (перелистывая журнал). Свою повесть прочел, а моей даже не разрезал. (Кладет журнал на письменный стол, потом направляется к левой двери; проходя мимо матери, целует ее в голову.)

Аркадина. А ты, Костя?

Треплев. Прости, что-то не хочется... Я пройдуся. (Уходит.)

Аркадина. Ставка – гривенник. Поставьте за меня, доктор.

Дорн. Слушаю-с.

Маша. Все поставили? Я начинаю.. Двадцать два!

Аркадина. Есть.

Маша. Три!..

Дорн. Так-с.

Маша. Поставили три? Восемь! Восемьдесят один! Десять!

Шамраев. Не спеш.

Аркадина. Как меня в Харькове принимали, батюшки мои, до сих пор голова кружится!

Маша. Тридцать четыре!

За сценой играют меланхолический вальс.

Аркадина. Студенты овацию устроили.. Три корзины, два венка и вот.. (Снимает с груди брошь и бросает на стол.)

Шамраев. Да, это вещь..

Маша. Пятьдесят!..

Дорн. Ровно пятьдесят?

Аркадина. На мне был удивительный туалет.. Что-что, а уж одеться я не дура.

Полина Андреевна. Костя играет. Тоскует, бедный.

Шамраев. В газетах бранят его очень.

Маша. Семьдесят семь!

Аркадина. Охота обращать внимание.

Тригорин. Ему не везет. Все никак не может попасть в свой настоящий тон. Что-то странное, неопределенное, порой даже похожее на бред. Ни одного живого лица.

Маша. Одиннадцать!

Аркадина (оглянувшись на Сорина). Петруша, тебе скучно?

Пауза.

Спит.

Дорн. Спит действительный статский советник.

Маша. Семь! Девяносто!

Тригорин. Если бы я жил в такой усадьбе, у озера, то разве я стал бы писать? Я поборол бы в себе эту страсть и только и делал бы, что удил рыбу.

Маша. Двадцать восемь!

Тригорин. Поймать ерша или окуня – это такое блаженство!

Дорн. А я верю в Константина Гаврилыча. Что-то есть! Что-то есть! Он мыслит образами, рассказы его красочны, ярки, и я их сильно чувствую. Жаль только, что он не имеет определенных задач. Производит впечатление, и больше ничего, а ведь на одном впечатлении далеко не уедешь. Ирина Николаевна, вы рады, что у вас сын писатель?

Аркадина. Представьте, я еще не читала. Все некогда.

Маша. Двадцать шесть!

Треплев тихо входит и идет к своему столу.

Шамраев (Тригорину). А у нас, Борис Алексеевич, осталась ваша вещь.

Тригорин. Какая?

Шамраев. Как-то Константин Гаврилыч застрелил чайку, и вы поручили мне заказать из нее чучело.

Тригорин. Не помню. (Раздумывая.) Не помню!

Маша. Шестьдесят шесть! Один!

Треплев (распахивает окно, прислушивается). Как темно! Не понимаю, отчего я испытываю такое беспокойство.

Аркадина. Костя, закрой окно, а то дует.

Треплев закрывает окно.

Маша. Восемьдесят восемь!

Тригорин. У меня партия, господа.

Аркадина (весело). Браво! браво!

Шамраев. Браво!

Аркадина. Этому человеку всегда и везде везет. (Встает.) А теперь пойдемте закусить чего-нибудь. Наша знаменитость не обедала сегодня. После ужина будем продолжать. (Сыну.) Костя, оставь свои рукописи, пойдем есть.

Треплев. Не хочу, мама, я сыт.

Аркадина. Как знаешь. (Будит Сорина.) Петруша, ужинать! (Берет Шамраева под руку.) Я расскажу вам, как меня принимали в Харькове...

Полина Андреевна тушит на столе свечи, потом она и Дорн катят кресло. Все уходит в левую дверь; на сцене остается один Треплев за письменным столом.

Треплев (собирается писать; пробегает то, что уже написано). Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине. (Читает.) «Афиша на заборе гласила... Бледное лицо, обрамленное темными волосами...» Гласила, обрамленное... Это бездарно. (Зачеркивает.) Начну с того, как героя разбудил шум дождя, а остальное все вон. Описание лунного вечера длинно и изысканно. Тригорин выработал себе приемы, ему легко... У него на плотине блестит горлышко разбитой бутылки и чернеет тень от мельничного колеса – вот и лунная ночь готова, а у меня и трепещущий свет, и тихое мерцание звезд, и далекие звуки рояля, замирающие в тихом ароматном воздухе... Это мучительно.

Пауза.

Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и не в новых формах, а в том, что человек пишет, не думая ни о каких формах, пишет, потому что это свободно льется из его души.

Кто-то стучит в окно, ближайшее к столу.

Что такое? (Глядит в окно.) Ничего не видно... (Отворяет стеклянную дверь и смотрит в сад.) Кто-то пробежал вниз по ступеням. (Окликает.) Кто здесь?

Уходит; слышно, как он быстро идет по террасе; через полминуты возвращается с Ниной Заречной.

Нина! Нина!

Нина кладет ему голову на грудь и сдержанно рыдает.

(Растроганный.) Нина! Нина! Это вы... вы... Я точно предчувствовал, весь день душа моя томилась ужасно. (Снимает с нее шляпу и тальму.) О, моя добрая, моя ненаглядная, она пришла! Не будем плакать, не будем.

Нина. Здесь есть кто-то.

Треплев. Никого.

Нина. Заприте двери, а то войдут.

Треплев. Никто не войдет.

Нина. Я знаю, Ирина Николаевна здесь. Заприте двери...

Треплев (запирает правую дверь на ключ, подходит к левой). Тут нет замка. Я заставлю креслом. (Ставит у двери кресло.) Не бойтесь, никто не войдет.

Нина (пристально глядит ему в лицо). Дайте я посмотрю на вас. (Оглядываясь.) Тепло, хорошо... Здесь тогда была гостиная. Я сильно изменилась?

Треплев. Да... Вы похудели, и у вас глаза стали больше. Нина, как-то странно, что я вижу вас. Отчего вы не пускали меня к себе? Отчего вы до сих пор не приходили? Я знаю, вы здесь живете уже почти неделю... Я каждый день ходил к вам по нескольку раз, стоял у вас под окном, как нищий.

Нина. Я боялась, что вы меня ненавидите. Мне каждую ночь все снится, что вы смотрите на меня и не узнаете. Если бы вы знали! С самого приезда я все ходила тут... около озера. Около вашего дома была много раз и не решалась войти. Давайте сядем.

Садятся.

Сядем и будем говорить, говорить. Хорошо здесь, тепло, уютно... Слышите – ветер? У Тургенева есть место<sup>[18]</sup>: «Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый угол». Я – чайка... Нет, не то. (Трет себе лоб.) О чем я? Да... Тургенев... «И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам»... Ничего. (Рыдает.)

Треплев. Нина, вы опять... Нина!

Нина. Ничего, мне легче от этого... Я уже два года не плакала. Вчера поздно вечером я пошла посмотреть в саду, цел ли наш театр. А он до сих пор стоит. Я заплакала в первый раз после двух лет, и у меня отлегло, стало яснее на душе.

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Видите, я уже не плачу. (Берет его за руку.) Итак, вы стали уже писателем... Вы писатель, я – актриса... Попали и мы с вами в круговорот... Жила я радостно, по-детски – проснешься утром и запоешь; любила вас, мечтала о славе, а теперь? Завтра рано утром ехать в Елец в третьем классе... с мужиками, а в Ельце образованные купцы будут приставать с любезностями. Груба жизнь!

Треплев. Зачем в Елец?

Нина. Взяла ангажемент на всю зиму. Пора ехать.

Треплев. Нина, я проклинал вас, ненавидел, рвал ваши письма и фотографии, но каждую минуту я сознавал, что душа моя привязана к вам навеки. Разлюбить вас я не в силах, Нина. С тех пор как я потерял вас и как начал печататься, жизнь для меня невыносима, – я страдаю... Молодость мою вдруг как оторвало, и мне кажется, что я уже прожил на свете девяносто лет. Я зову вас, целую землю, по которой вы ходили; куда бы я ни смотрел, всюду мне представляется ваше лицо, эта ласковая улыбка, которая светила мне в лучшие годы моей жизни...

Нина (растерянно). Зачем он так говорит, зачем он так говорит?

Треплев. Я одинок, не согрет ничьей привязанностью, мне холодно, как в подземелье, и, что бы я ни писал, все это сухо, черство, мрачно. Оставайтесь здесь, Нина, умоляю вас, или позвольте мне уехать с вами!

Нина быстро надевает шляпу и тальму.

Нина, зачем? Бога ради, Нина... (Смотрит, как она одевается.)

Пауза.

Нина. Лошади мои стоят у калитки. Не провожайте, я сама дойду... (Сквозь слезы.) Дайте воды...

Треплев (дает ей напиток). Вы куда теперь?

Нина. В город.

Пауза.

Ирина Николаевна здесь?

Треплев. Да... В четверг дяде было нехорошо, мы ей телеграфировали, чтобы она приехала.

Нина. Зачем вы говорите, что целовали землю, по которой я ходила? Меня надо убить. (Склоняется к столу.) Я так утомилась! Отдохнуть бы... отдохнуть! (Поднимает голову.) Я – чайка... Не то. Я – актриса. Ну, да! (Услышав смех Аркадиной и Тригорина, прислушивается, потом бежит к левой двери и смотрит в замочную скважину.) И он здесь... (Возвращаясь к Треплеву.) Ну, да... Ничего... Да... Он не верил в театр, все смеялся над моими мечтами, и мало-помалу я тоже перестала верить и пала духом... А тут заботы любви, ревность, постоянный страх за маленького... Я стала мелочной, ничтожной, играла бессмысленно... Я не знала, что делать с руками, не умела стоять на сцене, не владела голосом. Вы не понимаете этого состояния, когда чувствуешь, что играешь ужасно. Я – чайка. Нет, не то... Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришел человек, увидел и от нечего делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа... Это не то... (Трет себе лоб.) о чем я?... Я говорю о сцене. Теперь уж я не так... Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной. А теперь, пока живу здесь, я все хожу пешком, все хожу и думаю, думаю и чувствую, как с каждым днем растут мои душевные силы... Я теперь знаю, понимаю, Костя, что в нашем деле – все равно, играем мы на сцене или пишем, – главное не слава, но блеск, не то, о чем я мечтала, а умение терпеть. Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и

мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни.

Треплев (печально). Вы нашли свою дорогу, вы знаете, куда идете, а я все еще ношусь в хаосе грез и образов, не зная, для чего и кому это нужно. Я не верую и не знаю, в чем мое призвание.

Нина (прислушиваясь). Тсс... Я пойду. Прощайте. Когда я стану большой актрисой, приезжайте взглянуть на меня. Обещаете? А теперь... (Жмет ему руку.) Уже поздно. Я еле на ногах стою... я истощена, мне хочется есть...

Треплев. Оставайтесь, я дам вам поужинать...

Нина. Нет, нет... Не провожайте, я сама дойду... Лошади мои близко... Значит, она привезла его с собою? Что ж, все равно. Когда увидите Тригорина, то не говорите ему ничего... Я люблю его. Я люблю его даже сильнее, чем прежде... Сюжет для небольшого рассказа... Люблю, люблю страстно, до отчаяния люблю. Хорошо было прежде, Костя! Помните? Какая ясная, теплая, радостная, чистая жизнь, какие чувства, – чувства, похожие на нежные, изящные цветы... Помните? (Читает.) «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде, морские звезды и те, которых нельзя было видеть глазом, – словом, все жизни, все жизни, все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, и эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. На лугу уже не просыпаются с криком журавли, и майских жуков не бывает слышно в липовых рощах...» (Обнимает порывисто Треплева и убегает в стеклянную дверь.)

Треплев (после паузы). Нехорошо, если кто-нибудь встретит ее в саду и потом скажет маме. Это может огорчить маму...

В продолжение двух минут молча рвет все свои рукописи и бросает под стол, потом отпирает правую дверь и уходит.

Дорн (стараясь отворить левую дверь). Странно. Дверь как будто заперта... (Входит и ставит на место кресло.) Скачка с препятствиями.

Входят Аркадина, Полина Андреевна, за ними Яков с бутылками и Маша, потом Шамраев и Тригорин.

Аркадина. Красное вино и пиво для Бориса Алексеевича ставьте сюда, на стол. Мы будем играть и пить. Давайте садиться, господа.

Полина Андреевна (Якову). Сейчас же подавай и чай. (Зажигает свечи, садится за ломберный стол.)

Шамраев (подводит Тригорина к шкапу). Вот вещь, о которой я давеча говорил... (Достает из шкапа чучело чайки.) Ваш заказ.

Тригорин (глядя на чайку). Не помню! (Подумав.) Не помню!

Направо за сценой выстрел; все вздрагивают.

Аркадина (испуганно). Что такое?

Дорн. Ничего. Это, должно быть, в моей походной аптеке что-нибудь лопнуло. Не беспокойтесь. (Уходит в правую дверь, через полминуты возвращается.) Так и есть. Лопнула склянка с эфиром. (Напевает.) «Я вновь пред тобою стою очарован...»

Аркадина (садясь за стол). Фуй, я испугалась. Это мне напомнило, как... (Закрывает лицо руками.) Даже в глазах потемнело...

Дорн (перелистывая журнал, Тригорину). Тут месяца два назад была напечатана одна статья... письмо из Америки, и я хотел вас спросить, между прочим... (Берет

Пьесы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
Тригорина за талию и отводит к рампе.) Так как я очень интересуюсь этим вопросом... (Тонем ниже, вполголоса.) Уведите отсюда куда-нибудь Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился...

Занавес

Три сестры[19]  
Драма в четырех действиях

Действующие лица  
Прозоров Андрей Сергеевич.

Наталья Ивановна, его невеста, потом жена.

Его сестры:

Ольга

Маша

Ирина

Кулыгин Федор Ильич, учитель гимназии, муж Маши.

Вершинин Александр Игнатьевич, подполковник, батарейный командир.

Тузенбах Николай Львович, барон, поручик.

Соленый Василий Васильевич, штабс-капитан.

Чебутыкин Иван Романович, военный доктор.

Федотик Алексей Петрович, подпоручик.

Родэ Владимир Карлович, подпоручик.

Ферапонт, сторож из земской управы, старик.

Анфиса, нянька, старуха 80 лет.

Действие происходит в губернском городе.

Действие первое

В доме Прозоровых. Гостиная с колоннами, за которыми виден большой зал. Полдень; на дворе солнечно, весело. В зале накрывают стол для завтрака.

Ольга в синем форменном платье учительницы женской гимназии, все время поправляет ученические тетрадки, стоя и на ходу; Маша в черном платье, со шляпкой на коленях сидит и читает книжку, Ирина в белом платье стоит задумавшись.

Ольга. Отец умер ровно год назад, как раз в этот день, пятого мая, в твои именины, Ирина. Было очень холодно, тогда шел снег. Мне казалось, я не переживу, ты лежала в обмороке, как мертвая. Но вот прошел год, и мы вспоминаем об этом легко, ты уже в белом платье, лицо твое сияет. (Часы бьют двенадцать.) И тогда также били часы.

Пауза.



Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Помню, когда отца несли, то играла музыка, на кладбище стреляли. Он был генерал, командовал бригадой, между тем народу шло мало. Впрочем, был дождь тогда. Сильный дождь и снег.

Ирина. Зачем вспоминать!

За колоннами, в зале около стола показываются барон Тузенбах, Чебутыкин и Соленый.

Ольга. Сегодня тепло, можно окна держать настежь, а березы еще не распускались. Отец получил бригаду и выехал с нами из Москвы одиннадцать лет назад, и, я отлично помню, в начале мая, вот в эту пору в Москве уже все в цвету, тепло, все залито солнцем. Одиннадцать лет прошло, а я помню там все, как будто выехали вчера. Боже мой! Сегодня утром проснулась, увидела массу света, увидела весну, и радость заволновалась в моей душе, захотелось на родину страстно.

Чебутыкин. Черта с два!

Тузенбах. Конечно, вздор.

Маша, задумавшись над книжкой, тихо насвистывает песню.

Ольга. Не свисти, Маша. Как это ты можешь!

Пауза.

Оттого, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, у меня постоянно болит голова и такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом деле, за эти четыре года, пока служу в гимназии, я чувствую, как из меня выходят каждый день по каплям и силы, и молодость. И только растет и крепнет одна мечта...

Ирина. Уехать в Москву. Продать дом, покончить все здесь и – в Москву...

Ольга. Да! Скорее в Москву.

Чебутыкин и Тузенбах смеются.

Ирина. Брат, вероятно, будет профессором, он все равно не станет жить здесь. Только вот остановка за бедной Машей.

Ольга. Маша будет приезжать в Москву на все лето, каждый год.

Маша тихо насвистывает песню.

Ирина. Бог даст, все устроится. (Глядя в окно.) Хорошая погода сегодня. Я не знаю, отчего у меня на душе так светло! Сегодня утром вспомнила, что я именинница, и вдруг почувствовала радость, и вспомнила детство, когда еще была жива мама. И какие чудные мысли волновали меня, какие мысли!

Ольга. Сегодня ты вся сияешь, кажешься необыкновенно красивой. И Маша тоже красива. Андрей был бы хорош, только он располнел очень, это к нему не идет. А я постарела, похудела сильно, оттого, должно быть, что сержусь в гимназии на девочек. Вот сегодня я свободна, я дома, и у меня не болит голова, я чувствую себя моложе, чем вчера. Мне двадцать восемь лет, только... Все хорошо, все от Бога, но мне кажется, если бы я вышла замуж и целый день сидела дома, то это было бы лучше.

Пауза.

Я бы любила мужа.

Тузенбах (Соленому). Такой вы вздор говорите, надоело вас слушать. (Входя в гостиную.) Забыл сказать. Сегодня у вас с визитом будет наш новый батарейный командир Вершинин. (Садится у пианино.)

Ольга. Ну, что ж! Очень рада.

Ирина. Он старый?

Тузенбах. Нет, ничего. Самое большее, лет сорок, сорок пять. (Тихо наигрывает.) По-видимому, славный малый. Неглуп, это – несомненно. Только говорит много.

Ирина. Интересный человек?

Тузенбах. Да, ничего себе, только жена, теща и две девочки. Притом женат во второй раз. Он делает визиты и везде говорит, что у него жена и две девочки. И здесь скажет. Жена какая-то полоумная, с длинной девической косой, говорит одни высокопарные вещи, философствует и часто покушается на самоубийство, очевидно, чтобы насолить мужу. Я бы давно ушел от такой, но он терпит и только жалуется.

Соленый (входя из залы в гостиную с Чебутыкиным). Одной рукой я поднимаю только полтора пуда, а двумя пять, даже шесть пудов. Из этого я заключаю, что два человека сильнее одного не вдвое, а втрое, даже больше...

Чебутыкин (читает на ходу газету). При выпадении волос... два золотника нафталина на полбутылки спирта... растворить и употреблять ежедневно... (Записывает в книжку.) Запишем-с! (Соленому.) Так вот, я говорю вам, пробочка втыкается в бутылочку, и сквозь нее проходит стеклянная трубочка... Потом вы берете щепоточку самых простых, обыкновеннейших квасцов...

Ирина. Иван Романыч, милый Иван Романыч!

Чебутыкин. Что, девочка моя, радость моя?

Ирина. Скажите мне, отчего я сегодня так счастлива? Точно я на парусах, надо мной широкое голубое небо и носятся большие белые птицы. Отчего это? Отчего?

Чебутыкин (целуя ей обе руки, нежно). Птица моя белая...

Ирина. Когда я сегодня проснулась, встала и умылась, то мне вдруг стало казаться, что для меня все ясно на этом свете и я знаю, как надо жить. Милый Иван Романыч, я знаю все. Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто бы он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги. Как хорошо быть рабочим, который встает чуть свет и бьет на улице камни, или пастухом, или учителем, который учит детей, или машинистом на железной дороге... Боже мой, не то что человеком, лучше быть волком, лучше быть простою лошадью, только бы работать, чем молодой женщиной, которая встает в двенадцать часов дня, потом пьет в постели кофе, потом два часа одевается... о, как это ужасно! В жаркую погоду так иногда хочется пить, как мне захотелось работать. И если я не буду рано вставать и трудиться, то откажите мне в вашей дружбе, Иван Романыч.

Чебутыкин (нежно). Откажу, откажу...

Ольга. Отец приучил нас вставать в семь часов. Теперь Ирина просыпается в семь и по крайней мере до девяти лежит и о чем-то думает. А лицо серьезное! (Смеется.)

Ирина. Ты привыкла видеть меня девочкой, и тебе странно, когда у меня серьезное лицо. Мне двадцать лет!

Тузенбах. Тоска по труде, о Боже мой, как она мне понятна! Я не работал ни разу в жизни. Родился я в Петербурге, холодном и праздном, в семье, которая никогда не знала труда и никаких забот. Помню, когда я приезжал домой из корпуса, то лакей стаскивал с меня сапоги, я капризничал в это время, а моя мать смотрела на

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

меня с благоговением и удивлялась, когда другие на меня смотрели иначе. Меня оберегали от труда. Только едва ли удалось оберечь, едва ли! Пришло время, надвигается на всех нас громада, готовится здоровая, сильная буря, которая идет, уже близка и скоро сдует с нашего общества лень, равнодушие, предубеждение к труду, гнилую скуку. Я буду работать, а через какие-нибудь 25–30 лет работать будет уже каждый человек. Каждый!

Чебутыкин. Я не буду работать.

Тузенбах. Вы не в счет.

Соленый. Через двадцать пять лет вас уже не будет на свете, слава Богу. Года через два-три вы умрете от кондрашки, или я вспылю и всажу вам пулю в лоб, ангел мой. (Вынимает из кармана флакон с духами и опрыскивает себе грудь, руки.)

Чебутыкин (смеется). А я в самом деле никогда ничего не делал. Как вышел из университета, так не ударил пальцем о палец, даже ни одной книжки не прочел, а читал только одни газеты... (Вынимает из кармана другую газету.) Вот... Знаю по газетам, что был, положим, Добролюбов, а что он там писал – не знаю... Бог его знает...

Слышно, как стучат в пол из нижнего этажа.

Вот... Зовут меня вниз, кто-то ко мне пришел. Сейчас приду... погодите... (Торопливо уходит, расчесывая бороду.)

Ирина. Это он что-то выдумал.

Тузенбах. Да. Ушел с торжественной физиономией, очевидно, принесет вам сейчас подарок.

Ирина. Как это неприятно!

Ольга. Да, это ужасно. Он всегда делает глупости.

Маша. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том...»[20] Золотая цепь на дубе том... (Встает и напевает тихо.)

Ольга. Ты сегодня невеселая, Маша.

Маша, напевая, надевает шляпу.

Куда ты?

Маша. Домой.

Ирина. Странно...

Тузенбах. Уходить с именин!

Маша. Все равно... Приду вечером. Прощай, моя хорошая... (Целует Ирину.) Желаю тебе еще раз, будь здорова, будь счастлива. В прежнее время, когда был жив отец, к нам на именины приходило всякий раз по тридцать – сорок офицеров, было шумно, а сегодня только полтора человека и тихо, как в пустыне... Я уйду... Сегодня я в мерлехлюндии[21], невесело мне, и ты не слушай меня. (Смеется сквозь слезы.) После поговорим, а пока прощай, моя милая, пойду куда-нибудь.

Ирина (недовольная). Ну, какая ты...

Ольга (со слезами). Я понимаю тебя, Маша.

Соленый. Если философствует мужчина, то это будет философистика или там софистика; если же философствует женщина или две женщины, то уж это будет – потяни меня за палец.

Маша. Что вы хотите этим сказать, ужасно страшный человек?

Соленый. Ничего. «Он ахнуть не успел, как на него медведь насел» [22].

Пауза.

Маша (Ольге, сердито). Не реви!

Входят Анфиса и Ферापонт с тортом.

Анфиса. Сюда, батюшка мой. Входи, ноги у тебя чистые. (Ирине.) Из земской управы, от Протопопова, Михаила Иваныча... Пирог.

Ирина. Спасибо. Поблагодари. (Принимает торт.)

Ферапонт. Чего?

Ирина (громче). Поблагодари!

Ольга. Нянечка, дай ему пирога. Ферапонт, иди, там тебе пирога дадут.

Ферапонт. Чего?

Анфиса. Пойдем, батюшка Ферапонт Спиридоныч. Пойдем... (Уходит с Ферапонтом.)

Маша. Не люблю я Протопопова, этого Михаила Потапыча или Иваныча. Его не следует приглашать.

Ирина. Я не приглашала.

Маша. И прекрасно.

Входит Чебутыкин, за ним солдат с серебряным самоваром; гул изумления и недовольства.

Ольга (закрывает лицо руками). Самовар! Это ужасно! (Уходит в залу к столу.)

Ирина. Голубчик Иван Романыч, что вы делаете!

Тузенбах (смеется). Я говорил вам.

Маша. Иван Романыч, у вас просто стыда нет!

Чебутыкин. Милые мои, хорошие мои, вы у меня единственные, вы для меня самое дорогое, что только есть на свете. Мне скоро шестьдесят, я старик, одинокий, ничтожный старик... Ничего во мне нет хорошего, кроме этой любви к вам, и если бы не вы, то я бы давно уже не жил на свете... (Ирине.) Милая, деточка моя, я знаю вас со дня вашего рождения... носил на руках... я любил покойницу маму...

Ирина. Но зачем такие дорогие подарки!

Чебутыкин (сквозь слезы, сердито). Дорогие подарки... Ну вас совсем! (Денщику.) Неси самовар туда... (Дразнит.) Дорогие подарки...

Денщик уносит самовар в залу.

Анфиса (проходя через гостиную). Милые, полковник незнакомый! Уж пальто снял, деточки, сюда идет. Аринушка, ты же будь ласковая, вежливенькая... (Уходя.) И завтракать уже давно пора... Господи...

Тузенбах. Вершинин, должно быть.

Входит Вершинин.

Подполковник Вершинин!

Вершинин (Маше и Ирине). Честь имею представиться: Вершинин. Очень, очень рад, что наконец я у вас. Какие вы стали! Ай! ай!

Ирина. Садитесь, пожалуйста. Нам очень приятно.

Вершинин (весело). Как я рад, как я рад! Но ведь вас три сестры. Я помню – три девочки. Лиц уж не помню, но что у вашего отца, полковника Прозорова, были три маленьких девочки, я отлично помню и видел собственными глазами. Как идет время! Ой, ой, как идет время!

Тузенбах. Александр Игнатьевич из Москвы.

Ирина. Из Москвы? Вы из Москвы?

Вершинин. Да, оттуда. Ваш покойный отец был там батарейным командиром, а я в той же бригаде офицером. (Маше.) Вот ваше лицо немножко помню, кажется.

Маша. А я вас – нет!

Ирина. Оля! Оля! (Кричит в залу.) Оля, иди же!

Ольга входит из залы в гостиную.

Подполковник Вершинин, оказывается, из Москвы.

Вершинин. Вы, стало быть, Ольга Сергеевна, старшая... А вы Мария... А вы Ирина – младшая...

Ольга. Вы из Москвы?

Вершинин. Да. Учился в Москве и начал службу в Москве, долго служил там, наконец получил здесь батарею – перешел сюда, как видите. Я вас не помню, собственно, помню только, что вас было три сестры. Ваш отец сохранился у меня в памяти, вот закрою глаза и вижу, как живого. Я у вас бывал в Москве...

Ольга. Мне казалось, я всех помню, и вдруг...

Вершинин. Меня зовут Александром Игнатьевичем...

Ирина. Александр Игнатьевич, вы из Москвы... Вот неожиданность!

Ольга. Ведь мы туда переезжаем.

Ирина. Думаем, к осени уже будем там. Наш родной город, мы родились там... На Старой Басманной улице...

Обе смеются от радости.

Маша. Неожиданно земляка увидели. (Живо.) Теперь вспомнила! Помнишь, Оля, у нас говорили: «Влюбленный майор». Вы были тогда поручиком и в кого-то были влюблены, и вас все дразнили почему-то майором...

Вершинин (смеется). Вот, вот... Влюбленный майор, это так...

Маша. У вас были тогда только усы... О, как вы постарели! (Сквозь слезы.) Как вы

постарели!

Вершинин. Да, когда меня звали влюбленным майором, я был еще молод, был влюблен. Теперь не то.

Ольга. Но у вас еще ни одного седого волоса. Вы постарели, но еще не стары.

Вершинин. Однако уже сорок третий год. Вы давно из Москвы?

Ирина. Одиннадцать лет. Ну, что ты, Маша, плачешь, чудачка... (Сквозь слезы.) И я заплачу...

Маша. Я ничего. А на какой вы улице жили?

Вершинин. На Старой Басманной.

Ольга. И мы там тоже...

Вершинин. Одно время я жил на Немецкой улице. С Немецкой улицы я хаживал в Красные казармы. Там по пути угрюмый мост, под мостом вода шумит. Одинокому становится грустно на душе.

Пауза.

А здесь какая широкая, какая богатая река! Чудесная река!

Ольга. Да, но только холодно. Здесь холодно и комары...

Вершинин. Что вы! Здесь такой здоровый, хороший, славянский климат. Лес, река... и здесь тоже березы. Милые, скромные березы, я люблю их больше всех деревьев. Хорошо здесь жить. Только странно, вокзал железной дороги в двадцати верстах... И никто не знает, почему это так.

Соленый. А я знаю, почему это так.

Все глядят на него.

Потому что если бы вокзал был близко, то не был бы далеко, а если он далеко, то, значит, не близко.

Неловкое молчание.

Тузенбах. Шутник, Василий Васильич.

Ольга. Теперь и я вспомнила вас. Помню.

Вершинин. Я вашу матушку знал.

Чебутыкин. Хорошая была, царство ей небесное.

Ирина. Мама в Москве погребена.

Ольга. В Новодевичьем...

Маша. Представьте, я уж начинаю забывать ее лицо. Так и о нас не будут помнить. Забудут.

Вершинин. Да. Забудут. Такова уж судьба наша, ничего не поделаешь. То, что кажется нам серьезным, значительным, очень важным, – придет время, – будет

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
забыто или будет казаться неважным.

Пауза.

И интересно, мы теперь совсем не можем знать, что, собственно, будет считаться высоким, важным и что жалким, смешным. Разве открытие Коперника или, положим, Колумба не казалось в первое время ненужным, смешным, а какой-нибудь пустой вздор, написанный чудаком, не казался истиной? И может статься, что наша теперешняя жизнь, с которой мы так миримся, будет со временем казаться странной, неудобной, неумной, недостаточно чистой, быть может, даже грешной...

Тузенбах. Кто знает? А быть может, нашу жизнь назовут высокой и вспомнят о ней с уважением. Теперь нет пыток, нет казней, нашествий, но вместе с тем сколько страданий!

Соленый (тонким голосом). Цып, цып, цып... Барона кашей не корми, а только дай ему пофилософствовать.

Тузенбах. Василий Васильич, прошу вас оставить меня в покое... (Садится на другое место.) Это скучно наконец.

Соленый (тонким голосом). Цып, цып, цып...

Тузенбах (Вершинину). Страдания, которые наблюдаются теперь, – их так много! – говорят все-таки об известном нравственном подъеме, которого уже достигло общество...

Вершинин. Да, да, конечно.

Чебутыкин. Вы только что сказали, барон, нашу жизнь назовут высокой; но люди всё же низенькие... (Встает.) Глядите, какой я низенький. Это для моего утешения надо говорить, что жизнь моя высокая, понятная вещь.

За сценой игра на скрипке.

Маша. Это Андрей играет, наш брат.

Ирина. Он у нас ученый. Должно быть, будет профессором. Папа был военным, а его сын избрал себе ученую карьеру.

Маша. По желанию папы.

Ольга. Мы сегодня его задразнили. Он, кажется, влюблен немножко.

Ирина. В одну здешнюю барышню. Сегодня она будет у нас, по всей вероятности.

Маша. Ах, как она одевается! Не то чтобы некрасиво, не модно, а просто жалко. Какая-то странная, яркая, желтоватая юбка с этакой пошленькой бахромой и красная кофточка. И щеки такие вымытые, вымытые! Андрей не влюблен – я не допускаю, все-таки у него вкус есть, а просто он так, дразнит нас, дурачится. Я вчера слышала, она выходит за Протопопова, председателя здешней управы. И прекрасно... (В боковую дверь.) Андрей, поди сюда! Милый, на минутку!

Входит Андрей.

Ольга. Это мой брат, Андрей Сергеич.

Вершинин. Вершинин.

Андрей. Прозоров. (Утирает вспотевшее лицо.) Вы к нам батарейным командиром?

Ольга. Можешь представить, Александр Игнатьич из Москвы.

Андрей. Да? Ну, поздравляю, теперь мои сестрицы не дадут вам покою.

Вершинин. Я уже успел надоесть вашим сестрам.

Ирина. Посмотрите, какую рамочку для портрета подарил мне сегодня Андрей! (Показывает рамочку.) Это он сам сделал.

Вершинин (глядя на рамочку и не зная, что сказать). Да... вещь...

Ирина. И вот ту рамочку, что над пианино, он тоже сделал.

Андрей машет рукой и отходит.

Ольга. Он у нас и ученый, и на скрипке играет, и выпиливает разные штучки, одним словом, мастер на все руки. Андрей, не уходи! У него манера – всегда уходить. Поди сюда!

Маша и Ирина берут его под руки и со смехом ведут назад.

Маша. Иди, иди!

Андрей. Оставьте, пожалуйста.

Маша. Какой смешной! Александра Игнатьевича называли когда-то влюбленным майором, и он нисколько не сердился.

Вершинин. Нисколько!

Маша. А я хочу тебя назвать: влюбленный скрипач!

Ирина. Или влюбленный профессор!..

Ольга. Он влюблен! Андрюша влюблен!

Ирина (аплодируя). Bravo, bravo! Бис! Андрюшка влюблен!

Чебутыкин (подходит сзади к Андрею и берет его обеими руками за талию). Для любви одна природа нас на свет произвела! (Хохочет; он все время с газетой.)

Андрей. Ну, довольно, довольно... (Утирает лицо.) Я всю ночь не спал и теперь немножко не в себе, как говорится. До четырех часов читал, потом лег, но ничего не вышло. Думал о том, о сем, а тут ранний рассвет, солнце так и лезет в спальню. Хочу за лето, пока буду здесь, перевести одну книжку с английского.

Вершинин. А вы читаете по-английски?

Андрей. Да. Отец, Царство ему Небесное, угнетал нас воспитанием. Это смешно и глупо, но в этом все-таки надо сознаться, после его смерти я стал полнеть и вот располнел в один год, точно мое тело освободилось от гнета. Благодаря отцу я и сестры знаем французский, немецкий и английский языки, а Ирина знает еще по-итальянски. Но чего это стоило!

Маша. В этом городе знать три языка ненужная роскошь. Даже и не роскошь, а какой-то ненужный придаток, вроде шестого пальца. Мы знаем много лишнего.

Вершинин. Вот те на! (Смеется.) Знаете много лишнего! Мне кажется, нет и не может быть такого скучного и унылого города, в котором был бы не нужен умный, образованный человек. Допустим, что среди ста тысяч населения этого города, конечно отсталого и грубого, таких, как вы, только три. Само собою разумеется, вам не победить окружающей вас темной массы; в течение вашей жизни мало-помалу вы должны будете уступить и затеряться в стотысячной толпе, вас заглушит жизнь, но все же вы не исчезнете, не останетесь без влияния; таких, как вы, после вас явится уже, быть может, шесть, потом двенадцать и так далее, пока наконец такие,



Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
как вы, не станут большинством. Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной. Человеку нужна такая жизнь, и если ее нет пока, то он должен предчувствовать ее, ждать, мечтать, готовиться к ней, он должен для этого видеть и знать больше, чем видели и знали его дед и отец. (Смеется.) А вы жалуетесь, что знаете много лишнего.

Маша (снимает шляпу). Я остаюсь завтракать.

Ирина (со вздохом). Право, все это следовало бы записать...

Андрея нет, он незаметно ушел.

Тузенбах. Через много лет, вы говорите, жизнь на земле будет прекрасной, изумительной. Это правда. Но чтобы участвовать в ней теперь, хотя издали нужно приготавливаться к ней, нужно работать...

Вершинин (встает). Да. Сколько, однако, у вас цветов! (Оглядываясь.) И квартира чудесная. Завидую! А я всю жизнь мою болтался по квартиркам с двумя стульями, с одним диваном и с печами, которые всегда дымят. У меня в жизни не хватало именно вот таких цветов... (Потирает руки.) Эх! Ну, да что!

Тузенбах. Да, нужно работать. Вы небось думаете: расчувствовался немец. Но я, честное слово, русский и по-немецки даже не говорю. Отец у меня православный...

Пауза.

Вершинин (ходит по сцене). Я часто думаю: что, если бы начать жизнь снова, притом сознательно? Если бы одна жизнь, которая уже прожита, была, как говорится, начерно, другая – начисто! Тогда каждый из нас, я думаю, постарался бы прежде всего не повторять самого себя, по крайней мере, создал бы для себя иную обстановку жизни, устроил бы себе такую квартиру с цветами, с массой света... У меня жена, двое девочек, притом жена – дама нездоровая и так далее, и так далее, ну, а если бы начинать жизнь сначала, то я не женился бы... Нет, нет!

Входит Кулыгин в форменном фраке.

Кулыгин (подходит к Ирине). Дорогая сестра, позволь мне поздравить тебя с днем твоего ангела и пожелать искренно, от души, здоровья и всего того, что можно пожелать девушке твоих лет. И позволь поднести тебе в подарок вот эту книжку. (Подает книжку.) История нашей гимназии за пятьдесят лет, написанная мною. Пустяшная книжка, написана от нечего делать, но ты все-таки прочти. Здравствуйте, господа! (Вершинину.) Кулыгин, учитель здешней гимназии. Надворный советник. (Ирине.) В этой книжке ты найдешь список всех кончивших курс в нашей гимназии за эти пятьдесят лет. *Feci quod potui, faciant meliora potentes*[23]. (Целует Машу.)

Ирина. Но ведь на Пасху ты уже подарил мне такую книжку.

Кулыгин (смеется). Не может быть! В таком случае отдай назад или вот лучше отдай полковнику. Возьмите, полковник. Когда-нибудь прочтете от скуки.

Вершинин. Благодарю вас. (Собирается уйти.) Я чрезвычайно рад, что познакомился...

Ольга. Вы уходите? Нет, нет!

Ирина. Вы останетесь у нас завтракать. Пожалуйста.

Ольга. Прошу вас!

Вершинин (кланяется). Я, кажется, попал на именины. Простите, я не знал, не поздравил вас... (Уходит с Ольгой в залу.)

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Кулыгин. Сегодня, господа, воскресный день, день отдыха, будем же отдыхать, будем веселиться каждый сообразно со своим возрастом и положением. Ковры надо будет убрать на лето и спрятать до зимы... Персидским порошком или нафталином... Римляне были здоровы, потому что умели трудиться, умели и отдыхать, у них была mens sana in corpore sano[24]. Жизнь их текла по известным формам. Наш директор говорит: главное во всякой жизни – это ее форма... Что теряет свою форму, то кончается, – и в нашей обыденной жизни то же самое. (Берет Машу за талию, смеясь.) Маша меня любит. Моя жена меня любит. И оконные занавески тоже туда с коврами... Сегодня я весел, в отличном настроении духа. Маша, в четыре часа сегодня мы у директора. Устраивается прогулка педагогов и их семейств.

Маша. Не пойду я.

Кулыгин (огорченный). Милая Маша, почему?

Маша. После об этом... (Сердито.) Хорошо, я пойду, только отстань, пожалуйста... (Отходит.)

Кулыгин. А затем вечер проведем у директора. Несмотря на свое болезненное состояние, этот человек старается прежде всего быть общественным. Превосходная, светлая личность. Великолепный человек. Вчера после совета он мне говорит: «Устал, Федор Ильич! Устал!» (Смотрит на стенные часы, потом на свои.) Ваши часы спешат на семь минут. Да, говорит, устал!

За сценой игра на скрипке.

Ольга. Господа, милости просим, пожалуйста завтракать! Пирог!

Кулыгин. Ах, милая моя Ольга, милая моя! Я вчера работал с утра до одиннадцати часов вечера, устал и сегодня чувствую себя счастливым. (Уходит в залу к столу.) Милая моя...

Чебутыкин (кладет газету в карман, причесывает бороду). Пирог? Великолепно!

Маша (Чебутыкину строго). Только смотрите: ничего не пить сегодня. Слышите? Вам вредно пить.

Чебутыкин. Эва! У меня уж прошло. Два года, как запоя не было. (Нетерпеливо.) Э, матушка, да не все ли равно!

Маша. Все-таки не смейте пить. Не смейте. (Сердито, но так, чтобы не слышал муж.) Опять, черт подери, скучать целый вечер у директора!

Тузенбах. Я бы не пошел на вашем месте... Очень просто.

Чебутыкин. Не ходите, дуся моя.

Маша. Да, не ходите... Эта жизнь проклятая, невыносимая... (Идет в залу.)

Чебутыкин (идет к ней). Ну-у!

Соленый (проходя в залу). Цып, цып, цып...

Тузенбах. Довольно, Василий Васильич. Будет!

Соленый. Цып, цып, цып...

Кулыгин (весело). Ваше здоровье, полковник! Я педагог и здесь в доме свой человек, Машин муж... Она добрая, очень добрая...

Вершинин. Я выпью вот этой темной водки... (Пьет.) Ваше здоровье! (Ольге.) Мне у вас так хорошо!..

В гостиной остаются только Ирина и Тузенбах.

Ирина. Маша сегодня не в духе. Она вышла замуж восемнадцати лет, когда он казался ей самым умным человеком. А теперь не то. Он самый добрый, но не самый умный.

Ольга (нетерпеливо). Андрей, иди же наконец!

Андрей (за сценой). Сейчас. (Входит и идет к столу.)

Тузенбах. О чем вы думаете?

Ирина. Так. Я не люблю и боюсь этого вашего Соленого. Он говорит одни глупости...

Тузенбах. Станный он человек. Мне и жаль его, и досадно, но больше жаль. Мне кажется, он застенчив... Когда мы вдвоем с ним, то он бывает очень умен и ласков, а в обществе он грубый человек, бретер. Не ходите, пусть пока сядут за стол. Дайте мне побыть около вас. О чем вы думаете?

Пауза.

Вам двадцать лет, мне еще нет тридцати. Сколько лет нам осталось впереди, длинный, длинный ряд дней, полных моей любви к вам...

Ирина. Николай Львович, не говорите мне о любви.

Тузенбах (не слушая). У меня страстная жажда жизни, борьбы, труда, и эта жажда в душе слилась с любовью к вам, Ирина, и, как нарочно, вы прекрасны, и жизнь мне кажется такой прекрасной! О чем вы думаете?

Ирина. Вы говорите: прекрасна жизнь. Да, но если она только кажется такой! У нас, трех сестер, жизнь не была еще прекрасной, она заглушала нас, как сорная трава... Текут у меня слезы. Это не нужно... (Быстро вытирает лицо, улыбается.) Работать нужно, работать. Оттого нам невесело и смотрим мы на жизнь так мрачно, что не знаем труда. Мы родились от людей, презиравших труд...

Наталия Ивановна входит; она в розовом платье, с зеленым поясом.

Наташа. Там уже завтракать садятся... Я опоздала... (Мельком глядится в зеркало, поправляется.) Кажется, причесана ничего себе... (Увидев Ирину.) Милая Ирина Сергеевна, поздравляю вас! (Целует крепко и продолжительно.) У вас много гостей, мне, право, совестно... Здравствуйте, барон!

Ольга (входя в гостиную). Ну, вот и Наталия Ивановна. Здравствуйте, моя милая!

Целуются.

Наташа. С именинницей. У вас такое большое общество, я смущена ужасно...

Ольга. Полно, у нас всё свои. (Вполголоса испуганно.) На вас зеленый пояс! Милая, это нехорошо!

Наташа. Разве есть примета?

Ольга. Нет, просто не идет... и как-то странно...

Наташа (плачущим голосом). Да? Но ведь это не зеленый, а скорее матовый. (Идет за Ольгой в залу.)

В зале садятся завтракать; в гостиной ни души.

Кулыгин. Желаю тебе, Ирина, жениха хорошего. Пора тебе уж выходить.

Чебутыкин. Наталья Ивановна, и вам женишка желаю.

Кулыгин. У Натальи Ивановны уже есть женишок.

Маша (стучит вилкой по тарелке). Выпью рюмочку винца! Эхма, жизнь малиновая, где наша не пропадала!

Кулыгин. Ты ведешь себя на три с минусом.

Вершинин. А наливка вкусная. На чем это настоено?

Соленый. На тараканах.

Ирина (плачущим голосом). Фу! Фу! Какое отвращение!..

Ольга. За ужином будет жареная индейка и сладкий пирог с яблоками. Слава Богу, сегодня целый день я дома, вечером – дома... Господа, вечером приходите.

Вершинин. Позвольте и мне прийти вечером!

Ирина. Пожалуйста.

Наташа. У них попросту.

Чебутыкин. Для любви одной природа нас на свет произвела[25]. (Смеется.)

Андрей (сердито). Перестаньте, господа! Не надоело вам.

Федотик и Родэ входят с большой корзиной цветов.

Федотик. Однако уже завтракают.

Родэ (громко и картавя). Завтракают? Да, уже завтракают...

Федотик. Погоди минутку! (Снимает фотографию.) Раз! Погоди еще немного... (Снимает другую фотографию.) Два! Теперь готово!

Берут корзину и идут в залу, где их встречают с шумом.

Родэ (громко). Поздравляю, желаю всего, всего! Погода сегодня очаровательная, одно великолепиие. Сегодня все утро гулял с гимназистами. Я преподаю в гимназии гимнастику...

Федотик. Можете двигаться, Ирина Сергеевна, можете! (Снимая фотографию.) Вы сегодня интересны. (Вынимает из кармана волчок.) Вот, между прочим, волчок... Удивительный звук...

Ирина. Какая прелесть!

Маша. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том... Золотая цепь на дубе том...» (Плаксиво.) Ну, зачем я это говорю? Привязалась ко мне эта фраза с самого утра...

Кулыгин. Тринадцать за столом!

Родэ (громко). Господа, неужели вы придаете значение предрассудкам?

Смех.

Кулыгин. Если тринадцать за столом, то, значит, есть тут влюбленные. Уж не вы

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
ли, Иван Романович, чего доброго...

Смех.

Чебутыкин. Я старый грешник, а вот отчего Наталья Ивановна сконфузилась, решительно понять не могу.

Громкий смех; Наташа выбегает из зала в гостиную, за ней Андрей.

Андрей. Полно, не обращайтесь внимания! Погодите... постойте, прошу вас...

Наташа. Мне стыдно... Я не знаю, что со мной делается, а они поднимают меня на смех. То, что я сейчас вышла из-за стола, неприлично, но я не могу... не могу... (Закрывает лицо руками.)

Андрей. Дорогая моя, прошу вас, умоляю, не волнуйтесь. Уверю вас, они шутят, они от доброго сердца. Дорогая моя, моя хорошая, они все добрые, сердечные люди и любят меня и вас. Идите сюда к окну, нас здесь не видно им... (Оглядывается.)

Наташа. Я так не привыкла бывать в обществе!..

Андрей. О молодость, чудная, прекрасная молодость! Моя дорогая, моя хорошая, не волнуйтесь так!.. Верьте мне, верьте... Мне так хорошо, душа полна любви, восторга... О, нас не видят! Не видят! За что, за что я полюбил вас, когда полюбил – о, ничего не понимаю. Дорогая моя, хорошая, чистая, будьте моей женой! Я вас люблю, люблю... как никого никогда...

Поцелуй.

Два офицера входят и, увидев целующуюся пару, останавливаются в изумлении.

Занавес

Действие второе

Декорация первого акта.

Восемь часов вечера. За сценой на улице едва слышно играют на гармонике. Нет огня.

Входит Наталья Ивановна в капоте, со свечой; она идет и останавливается у двери, которая ведет в комнату Андрея.

Наташа. Ты, Андрюша, что делаешь? Читаешь? Ничего, я так только... (Идет, отворяет другую дверь и, заглянув в нее, закрывает.) Огня нет ли...

Андрей (входит с книгой в руке). Ты что, Наташа?

Наташа. Смотрю, огня нет ли... Теперь Масленица, прислуга сама не своя, гляди да и гляди, чтоб чего не вышло. Вчера в полночь прохожу через столовую, а там свеча горит. Кто зажег, так и не добилась толку. (Ставит свечу.) Который час?

Андрей (взглянув на часы). Девятого четверть.

Наташа. А Ольги и Ирины до сих пор еще нет. Не пришли. Всё трудятся, бедняжки. Ольга на педагогическом совете, Ирина на телеграфе... (Вздыхает.) Сегодня утром говорю твоей сестре: «Побереги, говорю, себя, Ирина, голубчик». И не слушает.

Четверть девятого, говоришь? Я боюсь, Бобик наш совсем нездоров. Отчего он холодный такой? Вчера у него был жар, а сегодня холодный весь... Я так боюсь!

Андрей. Ничего, Наташа. Мальчик здоров.

Наташа. Но все-таки лучше пускай диэта. Я боюсь. И сегодня в десятом часу, говорили, ряженные у нас будут, лучше бы они не приходили, Андрюша.

Андрей. Право, я не знаю. Их ведь звали.

Наташа. Сегодня мальчишечка проснулся утром и глядит на меня, и вдруг улыбнулся; значит, узнал. «Бобик, говорю, здравствуй! Здравствуй, милый!» А он смеется. Дети понимают, отлично понимают. Так, значит, Андрюша, я скажу, чтобы ряженных не принимали.

Андрей (нерешительно). Да ведь это как сестры. Они тут хозяйки.

Наташа. И они тоже, я им скажу. Они добрые... (Идет.) К ужину я велела простокваши. Доктор говорит, тебе нужно одну простоквашу есть, иначе не похудеешь. (Останавливается.) Бобик холодный. Я боюсь, ему холодно в его комнате, пожалуй. Надо бы хоть до теплой погоды поместить его в другой комнате. Например, у Ирины комната как раз для ребенка: и сухо, и целый день солнце. Надо ей сказать, она пока может с Ольгой в одной комнате... Все равно днем дома не бывает, только ночует...

Пауза.

Андрюшанчик, отчего ты молчишь?

Андрей. Так, задумался... Да и нечего говорить...

Наташа. Да... Что-то я хотела тебе сказать... Ах да. Там из управы Ферапонт пришел, тебя спрашивает.

Андрей (зевает). Позови его.

Наташа уходит; Андрей, нагнувшись к забытой ею свече, читает книгу. Входит Ферапонт; он в старом трепаном пальто с поднятым воротником, уши повязаны.

Здравствуй, душа моя. Что скажешь?

Ферапонт. Председатель прислал книжку и бумагу какую-то. Вот... (Подает книгу и пакет.)

Андрей. Спасибо. Хорошо. Отчего же ты пришел так не рано? Ведь девятый час уже.

Ферапонт. Чего?

Андрей (громче). Я говорю, поздно пришел, уже девятый час.

Ферапонт. Так точно. Я пришел к вам, еще светло было, да не пускали всё. Барин, говорят, занят. Ну, что ж. Занят так занят, спешить мне некуда. (Думая, что Андрей спрашивает его о чем-то.) Чего?

Андрей. Ничего. (Рассматривая книгу.) Завтра пятница, у нас нет присутствия, но я все равно приду... займусь. Дома скучно...

Пауза.

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Милый дед, как странно меняется, как обманывает жизнь! Сегодня от скуки, от нечего делать, я взял в руки вот эту книгу – старые университетские лекции, и мне стало смешно... Боже мой, я секретарь земской управы, той управы, где председательствует Протопопов, я секретарь, и самое большее, на что я могу надеяться, это – быть членом земской управы! Мне быть членом здешней земской управы, мне, которому снится каждую ночь, что я профессор Московского университета, знаменитый ученый, которым гордится Русская земля!

Ферапонт. Не могу знать... Слышу-то плохо...

Андрей. Если бы ты слышал как следует, то я, быть может, и не говорил бы с тобой. Мне нужно говорить с кем-нибудь, а жена меня не понимает, сестер я боюсь почему-то, боюсь, что они засмеют меня, застыдят... Я не пью, трактиров не люблю, но с каким удовольствием я посидел бы теперь в Москве у Тестова или в Большом Московском, голубчик мой.

Ферапонт. А в Москве, в управе давеча рассказывал подрядчик, какие-то купцы ели блины; один, который съел сорок блинов, будто помер. Не то сорок, не то пятьдесят. Не упомяну.

Андрей. Сидишь в Москве, в громадной зале ресторана, никого не знаешь, и тебя никто не знает, и в то же время не чувствуешь себя чужим. А здесь ты всех знаешь и тебя все знают, но чужой, чужой... Чужой и одинокий.

Ферапонт. Чего?

Пауза.

И тот же подрядчик сказывал – может, и врет, – будто поперек всей Москвы канат протянут.

Андрей. Для чего?

Ферапонт. Не могу знать. Подрядчик говорил.

Андрей. Чепуха. (Читает книгу.) Ты был когда-нибудь в Москве?

Ферапонт (после паузы). Не был. Не привел Бог.

Пауза.

Мне идти?

Андрей. Можешь идти. Будь здоров.

Ферапонт уходит.

Будь здоров. (Читая.) Завтра утром придешь, возьмешь тут бумаги... Ступай...

Пауза.

Он ушел.

Звонок.

Да, дела... (Потягивается и не спеша уходит к себе.)

За сценой поет нянька, укачивая ребенка. Входят Маша и Вершинин. Пока они потом

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
беседуют, горничная зажигает лампу и свечи.

Маша. Не знаю.

Пауза.

Не знаю. Конечно, много значит привычка. После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть к тому, что у нас уже нет денщиков. Но и помимо привычки, мне кажется, говорит во мне просто справедливость. Может быть, в других местах и не так, но в нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди – это военные.

Вершинин. Мне пить хочется. Я бы выпил чаю.

Маша (взглянув на часы). Скоро дадут. Меня выдали замуж, когда мне было восемнадцать лет, и я своего мужа боялась, потому что он был учителем, а я тогда едва кончила курс. Он казался мне тогда ужасно ученым, умным и важным. А теперь уж не то, к сожалению.

Вершинин. Так... да.

Маша. Про мужа я не говорю, к нему я привыкла, но между штатскими вообще так много людей грубых, нелюбезных, невоспитанных. Меня волнует, оскорбляет грубость, я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок, недостаточно мягок, любезен. Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, то я просто страдаю.

Вершинин. Да-с... Но мне кажется, все равно, что штатский, что военный, одинаково неинтересно, по крайней мере в этом городе. Все равно! Если послушать здешнего интеллигента, штатского или военного, то с женой он замучился, с домом замучился, с именем замучился, с лошадьми замучился... Русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мыслей, но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко? Почему?

Маша. Почему?

Вершинин. Почему он с детьми замучился, с женой замучился? А почему жена и дети с ним замучились?

Маша. Вы сегодня немножко не в духе.

Вершинин. Может быть. Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра. У меня дочь больна немножко, а когда болеют мои девочки, то мною овладевает тревога, меня мучает совесть за то, что у них такая мать. О, если бы вы видели ее сегодня! Что за ничтожество! Мы начали браниться с семи часов утра, а в девять я хлопнул дверь и ушел.

Пауза.

Я никогда не говорю об этом, и странно, жалуюсь только вам одной. (Целует руку.) Не сердитесь на меня. Кроме вас одной, у меня нет никого, никого...

Пауза.

Маша. Какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. Вот точно так.

Вершинин. Вы с предрассудками?

Маша. Да.



Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
Вершинин. Странно это. (Целует руку.) Вы великолепная, чудная женщина. Великолепная, чудная! Здесь темно, но я вижу блеск ваших глаз.

Маша (садится на другой стул). Здесь светлей...

Вершинин. Я люблю, люблю, люблю.. Люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся.. Великолепная, чудная женщина!

Маша (тихо смеясь). Когда вы говорите со мной так, то я почему-то смеюсь, хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас... (Вполголоса.) А впрочем, говорите, мне все равно.. (Закрывает лицо руками.) Мне все равно. Сюда идут, говорите о чем-нибудь другом...

Ирина и Тузенбах входят через залу.

Тузенбах. У меня тройная фамилия. Меня зовут барон Тузенбах-Кроне-Альтшауер, но я русский, православный, как вы. Немецкого у меня осталось мало, разве только терпеливость, упрямство, с каким я надоедаю вам. Я провожаю вас каждый вечер.

Ирина. Как я устала!

Тузенбах. И каждый вечер буду приходить на телеграф и провожать вас домой, буду десять – двадцать лет, пока вы не прогоните.. (Увидев Машу и Вершинина, радостно.) Это вы? Здравствуйте.

Ирина. Вот я и дома наконец. (Маше.) Сейчас приходит одна дама, телеграфирует своему брату в Саратов, что у ней сегодня сын умер, и никак не может вспомнить адреса. Так и послала без адреса, просто в Саратов. Плачет. И я ей нагрубила ни с того ни с сего. «Мне, говорю, некогда». Так глупо вышло. Сегодня у нас ряженные?

Маша. Да.

Ирина (садится в кресле). Отдохнуть. Устала.

Тузенбах (с улыбкой). Когда вы приходите с должности, то кажетесь такой маленькой, несчастненькой...

Пауза.

Ирина. Устала. Нет, не люблю я телеграфа, не люблю.

Маша. Ты похудела.. (Насвистывает.) И помолодела, и на мальчишку стала похожа лицом.

Тузенбах. Это от прически.

Ирина. Надо поискать другую должность, а эта не по мне. Чего я так хотела, о чем мечтала, того-то в ней именно и нет. Труд без поэзии, без мыслей...

Стук в пол.

Доктор стучит. (Тузенбаху.) Милый, постучите. Я не могу... устала...

Тузенбах стучит в пол.

Сейчас придет. Надо бы принять какие-нибудь меры. Вчера доктор и наш Андрей были в клубе и опять проигрались. Говорят, Андрей двести рублей проиграл.

Маша (равнодушно). Что ж теперь делать!

Ирина. Две недели назад проиграл, в декабре проиграл. Скорее бы всё проиграл, быть может, уехали бы из этого города. Господи Боже мой, мне Москва снится каждую ночь, я совсем как помешанная. (Смеется.) Мы переезжаем туда в июне, а до июня осталось еще... февраль, март, апрель, май... почти полгода!

Маша. Надо только, чтобы Наташа не узнала как-нибудь о проигрыше.

Ирина. Ей, я думаю, все равно.

Чебутыкин, только что вставший с постели, – он отдыхал после обеда, – входит в залу и причесывает бороду, потом садится там за стол и вынимает из кармана газету.

Маша. Вот пришел... Он заплатил за квартиру?

Ирина (смеется). Нет. За восемь месяцев ни копейки. Очевидно, забыл.

Маша (смеется). Как он важно сидит!

Все смеются; пауза.

Ирина. Что вы молчите, Александр Игнатьич?

Вершинин. Не знаю. Чаю хочется. Полжизни за стакан чаю! С утра ничего не ел...

Чебутыкин. Ирина Сергеевна!

Ирина. Что вам?

Чебутыкин. Пожалуйста сюда. Venez ici.

Ирина идет и садится за стол.

Я без вас не могу.

Ирина раскладывает пасьянс.

Вершинин. Что ж? Если не дают чаю, то давайте хоть пофилософствуем.

Тузенбах. Давайте. О чем?

Вершинин. О чем? Давайте помечтаем... например, о той жизни, какая будет после нас, лет через двести – триста.

Тузенбах. Что ж? После нас будут летать на воздушных шарах, изменятся пиджаки, откроют, быть может, шестое чувство и разовьют его, но жизнь останется все та же, жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через тысячу лет человек будет так же вздыхать: «Ах, тяжело жить!» – и вместе с тем точно так же, как теперь, он будет бояться и не хотеть смерти.

Вершинин (подумав). Как вам сказать? Мне кажется, все на земле должно измениться мало-помалу и уже меняется на наших глазах. Через двести – триста, наконец, тысячу лет, – дело не в сроке, – настанет новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь, работаем, ну, страдаем, мы творим ее – и в этом одном цель нашего бытия и, если хотите, наше счастье.

Маша тихо смеется.

Тузенбах. Что вы?

Маша. Не знаю. Сегодня весь день смеюсь с утра.

Вершинин. Я кончил там же, где и вы, в академии я не был; читаю я много, но выбирать книг не умею и читаю, быть может, совсем не то, что нужно, а между тем чем больше живу, тем больше хочу знать. Мои волосы седеют, я почти старик уже, но знаю мало, ах как мало! Но все же, мне кажется, самое главное и настоящее я знаю, крепко знаю. И как бы мне хотелось доказать вам, что счастья нет, не должно быть и не будет для нас... Мы должны только работать и работать, а счастье – это удел наших далеких потомков.

Пауза.

Не я, то хоть потомки потомков моих.

Федотик и Родэ показываются в зале; они садятся и напевают тихо, наигрывая на гитаре.

Тузенбах. По-вашему, даже не мечтать о счастье! Но если я счастлив!

Вершинин. Нет.

Тузенбах (всплеснув руками и смеясь). Очевидно, мы не понимаем друг друга. Ну, как мне убедить вас?

Маша тихо смеется.

(Показывая ей палец.) Смейтесь! (Вершинину.) Не то что через двести или триста, но и через миллион лет жизнь останется такою же, как и была; она не меняется, остается постоянною, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела или, по крайней мере, которых вы никогда не узнаете. Перелетные птицы, журавли например, летят и летят, и какие бы мысли, высокие или малые, ни бродили в их головах, все же будут лететь и не знать, зачем и куда. Они летят и будут лететь, какие бы философы ни завелись среди них; и пускай философствуют как хотят, лишь бы летели...

Маша. Все-таки смысл?

Тузенбах. Смысл... Вот снег идет. Какой смысл?

Пауза.

Маша. Мне кажется, человек должен быть верующим или должен искать веры, иначе жизнь его пуста, пуста... Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети рождаются, для чего звезды на небе... Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трын-трава.

Пауза.

Вершинин. Все-таки жалко, что молодость прошла...

Маша. У Гоголя сказано: скучно жить на этом свете, господа!

Тузенбах. А я скажу: трудно с вами спорить, господа! Ну вас совсем...

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
Чебутыкин (читая газету). Бальзак венчался в Бердичеве.

Ирина напевает тихо.

Даже запишу себе это в книжку. (Записывает.) Бальзак венчался в Бердичеве.  
(Читает газету.)

Ирина (раскладывает пасьянс, задумчиво). Бальзак венчался в Бердичеве.

Тузенбах. Жребий брошен. Вы знаете, Мария Сергеевна, я подаю в отставку.

Маша. Слышала. И ничего я не вижу в этом хорошего. Не люблю я штатских.

Тузенбах. Все равно... (Встает.) Я некрасив, какой я военный? Ну, да все равно, впрочем... Буду работать. Хоть один день в моей жизни поработать так, чтобы прийти вечером домой, в утомлении повалиться в постель и уснуть тотчас же. (Уходя в залу.) Рабочие, должно быть, спят крепко!

Федотик (Ирине). Сейчас на Московской у Пыжикова купил для вас цветных карандашей. И вот этот ножичек...

Ирина. Вы привыкли обращаться со мной как с маленькой, но ведь я уже выросла... (Берет карандаши и ножичек, радостно.) Какая прелесть!

Федотик. А для себя я купил ножик... вот поглядите... нож, еще другой нож, третий, это в ушах ковырять, это ножнички, это ногти чистить...

Родэ (громко). Доктор, сколько вам лет?

Чебутыкин. Мне? Тридцать два.

Смех.

Федотик. Я сейчас покажу вам другой пасьянс... (Раскладывает пасьянс.)

Подают самовар; Анфиса около самовара; немного погодя приходит Наташа и тоже суетится около стола; приходит Солёный и, поздоровавшись, садится за стол.

Вершинин. Однако, какой ветер!

Маша. Да. Надоела зима. Я уже и забыла, какое лето.

Ирина. Выйдет пасьянс, я вижу. Будем в Москве.

Федотик. Нет, не выйдет. Видите, осьмерка легла на двойку пик. (Смеется.) Значит, вы не будете в Москве.

Чебутыкин (читает газету). Цицикар. Здесь свирепствует оспа.

Анфиса (подходя к Маше). Маша, чай кушать, матушка. (Вершинину.) Пожалуйста, ваше высокоблагородие... простите, батюшка, забыла имя, отчество...

Маша. Принеси сюда, няня. Туда не пойду.

Ирина. Няня!

Анфиса. Иду-у!

Наташа (Солёному). Грудные дети прекрасно понимают. «Здравствуй, говорю, Бобик.

Здравствуй, милый!» Он взглянул на меня как-то особенно. Вы думаете, во мне говорит только мать, но нет, нет, уверяю вас! Это необыкновенный ребенок.

Соленый. Если бы этот ребенок был мой, то я изжарил бы его на сковородке и съел бы. (Идет со стаканом в гостиную и садится в угол.)

Наташа (закрыв лицо руками). Грубый, невоспитанный человек!

Маша. Счастлив тот, кто не замечает, лето теперь или зима. Мне кажется, если бы я была в Москве, то относилась бы равнодушно к погоде...

Вершинин. На днях я читал дневник одного французского министра, писанный в тюрьме. Министр был осужден за Панаму. С каким упоением, восторгом упоминает он о птицах, которых видит в тюремном окне и которых не замечал раньше, когда был министром. Теперь, конечно, когда он выпущен на свободу, он уже по-прежнему не замечает птиц. Так же и вы не будете замечать Москвы, когда будете жить в ней. Счастья у нас нет и не бывает, мы только желаем его.

Тузенбах (берет со стола коробку). Где же конфеты?

Ирина. Соленый съел.

Тузенбах. Все?

Анфиса (подавая чай). Вам письмо, батюшка.

Вершинин. Мне? (Берет письмо.) От дочери. (Читает.) Да, конечно... Я, извините, Мария Сергеевна, уйду потихоньку. Чаю не буду пить. (Встает, взволнованный.) Вечно эти истории...

Маша. Что такое? Не секрет?

Вершинин (тихо). Жена опять отравилась. Надо идти. Я пройду незаметно. Ужасно неприятно все это. (Целует Маше руку.) Милая моя, славная, хорошая женщина... Я здесь пройду потихоньку... (Уходит.)

Анфиса. Куда же он? А я чай подала... Экой какой.

Маша (рассердившись). Отстань! Пристаешь тут, покоя от тебя нет... (Идет с чашкой к столу.) Надоела ты мне, старая!

Анфиса. Что ж ты обижаешься? Милая!

Голос Андрея: Анфиса!

Анфиса (дразнит). Анфиса! Сидит там... (Уходит.)

Маша (в зале у стола, сердито). Дайте же мне сесть! (Мешает на столе карты.) Расселись тут с картами. Пейте чай!

Ирина. Ты, Машка, злая.

Маша. Раз я злая, не говорите со мной. Не трогайте меня!

Чебутыкин (смеясь). Не трогайте ее, не трогайте...

Маша. Вам шестьдесят лет, а вы, как мальчишка, всегда городите черт знает что.

Наташа (вздыхает). Милая Маша, к чему употреблять в разговоре такие выражения? При твоей прекрасной наружности в приличном светском обществе ты, я тебе прямо скажу, была бы просто очаровательна, если бы не эти твои слова. Je vous prie, pardonnez moi, Marie, mais vous avez des manières un peu grossières[26].

Тузенбах (сдерживая смех). Дайте мне... дайте мне... Там, кажется, коньяк...

Наташа. Il paraît, que mon Бобик déjà ne dort pas[27], проснулся. Он у меня сегодня нездоров. Я пойду к нему, простите... (Уходит.)

Ирина. А куда ушел Александр Игнатьич?

Маша. Домой. У него опять с женой что-то необычайное.

Тузенбах (идет к Соленому, в руках графинчик с коньяком). Все вы сидите один, о чем-то думаете – и не поймешь о чем. Ну, давайте мириться. Давайте выпьем коньяку.

Пьют.

Сегодня мне придется играть на пианино всю ночь, вероятно, играть всякий вздор... Куда ни шло!

Соленый. Почему мириться? Я с вами не ссорился.

Тузенбах. Всегда вы возбуждаете такое чувство, как будто между нами что-то произошло. У вас характер странный, надо сознаться.

Соленый (декламируя). «Я странен, не странен кто ж! Не сердись, Алеко!»

Тузенбах. И при чем тут Алеко...

Пауза.

Соленый. Когда я вдвоем с кем-нибудь, то ничего, я как все, но в обществе я уныл, застенчив и... говорю всякий вздор. Но все-таки я честнее и благороднее очень, очень многих. И могу это доказать.

Тузенбах. Я часто сержусь на вас, вы постоянно придираетесь ко мне, когда мы бываем в обществе, но все же вы мне симпатичны почему-то. Куда ни шло, напьюсь сегодня. Выпьем!

Соленый. Выпьем.

Пьют.

Я против вас, барон, никогда ничего не имел. Но у меня характер Лермонтова. (Тихо.) Я даже немножко похож на Лермонтова... как говорят... (Достает из кармана флакон с духами и льет на руки.)

Тузенбах. Подаю в отставку. Баста! Пять лет все раздумывал и наконец решил. Буду работать.

Соленый (декламируя). «Не сердись, Алеко... Забудь, забудь мечтания свои...»

Пока они говорят, Андрей входит с книгой тихо и садится у свечи.

Тузенбах. Буду работать.

Чебутыкин (идя в гостиную с Ириной). И угощение было тоже настоящее кавказское: суп с луком, а на жаркое – чехартма, мясное.

Соленый. Черемша вовсе не мясо, а растение вроде нашего лука.

Чебутыкин. Нет-с, ангел мой. Чехартма не лук, а жаркое из баранины.

Соленый. А я вам говорю, черемша – лук.

Чебутыкин. А я вам говорю, чехартма – баранина.

Соленый. А я вам говорю, черемша – лук.

Чебутыкин. Что же я буду с вами спорить! Вы никогда не были на Кавказе и не ели чехартмы.

Соленый. Не ел, потому что терпеть не могу. От черемши такой же запах, как от чеснока.

Андрей (умоляюще). Довольно, господа! Прошу вас!

Тузенбах. Когда придут ряженные?

Ирина. Обещали к девяти; значит, сейчас.

Тузенбах (обнимает Андрея). Ах вы сени, мои сени, сени новые мои...

Андрей (пляшет и поет). Сени новые, кленовые...

Чебутыкин (пляшет). Решетчаты-е!

Смех.

Тузенбах (целует Андрея). Черт возьми, давайте выпьем. Андрюша, давайте выпьем на «ты». И я с тобой, Андрюша, в Москву, в университет.

Соленый. В какой? В Москве два университета.

Андрей. В Москве один университет.

Соленый. А я вам говорю – два.

Андрей. Пускай хоть три. Тем лучше.

Соленый. В Москве два университета!

Ропот и шиканье.

В Москве два университета: старый и новый. А если вам неудобно слушать, если мои слова раздражают вас, то я могу не говорить. Я даже могу уйти в другую комнату... (Уходит в одну из дверей.)

Тузенбах. Bravo, bravo! (Смеется.) Господа, начинайте, я сажусь играть! Смешной этот Соленый... (Садится за пианино, играет вальс.)

Маша (танцует вальс одна). Барон пьян, барон пьян, барон пьян!

Входит Наташа.

Наташа (Чебутыкину). Иван Романыч! (Говорит о чем-то Чебутыкину, потом тихо уходит.)

Чебутыкин трогает Тузенбаха за плечо и шепчет ему о чем-то.

Ирина. Что такое?

Чебутыкин. Нам пора уходить. Будьте здоровы.

Тузенбах. Спокойной ночи. Пора уходить.

Ирина. Позвольте... А ряженные?...

Андрей (сконфуженный). Ряженных не будет. Видишь ли, моя милая, Наташа говорит, что Бобик не совсем здоров, и потому... Одним словом, я не знаю, мне решительно все равно.

Ирина (пожимая плечами). Бобик нездоров!

Маша. Где наша не пропадала! Гонят, стало быть, надо уходить. (Ирине.) Не Бобик болен, а она сама... Вот! (Стучит пальцем по лбу.) Мещанка!

Андрей уходит в правую дверь к себе, Чебутыкин идет за ним; в зале прощаются.

Федотик. Какая жалость! Я рассчитывал провести вечерок, но если болен ребеночек, то конечно... Я завтра принесу ему игрушечку...

Родэ (громко). Я сегодня нарочно выспался после обеда, думал, что всю ночь буду танцевать. Ведь теперь только девять часов!

Маша. Выйдем на улицу, там потолкуем. Решим, что и как.

Слышно: «Прощайте! Будьте здоровы!» Слышен веселый смех Тузенбаха. Все уходят. Анфиса и горничная убирают со стола, тушат огни. Слышно, как поет нянька. Андрей в пальто и шляпе и Чебутыкин тихо входят.

Чебутыкин. Жениться я не успел, потому что жизнь промелькнула как молния, да и потому, что безумно любил твою матушку, которая была замужем...

Андрей. Жениться не нужно. Не нужно, потому что скучно.

Чебутыкин. Так-то оно так, да одиночество. Как там ни философствуй, а одиночество страшная штука, голубчик мой... Хотя, в сущности... конечно, решительно все равно!

Андрей. Пойдемте скорей.

Чебутыкин. Что же спешить? Успеем.

Андрей. Я боюсь, жена бы не остановила.

Чебутыкин. А!

Андрей. Сегодня я играть не стану, только так посижу. Нездоровится... Что мне делать, Иван Романыч, от одышки?

Чебутыкин. Что спрашивать! Не помню, голубчик. Не знаю.

Андрей. Пройдем кухней.

Уходят.

Звонок, потом опять звонок; слышны голоса, смех.

Ирина (входит). Что там?

Анфиса (шепотом). Ряженные!



Звонок.

Ирина. Скажи, нянечка, дома нет никого. Пусть извинят.

Анфиса уходит. Ирина в раздумье ходит по комнате; она взволнована. Входит Соленый.

Соленый (в недоумении). Никого нет... А где же все?

Ирина. Ушли домой.

Соленый. Странно. Вы одни тут?

Ирина. Одна.

Пауза.

Прощайте.

Соленый. Давеча я вел себя недостаточно сдержанно, нетактично. Но вы не такая, как все, вы высоки и чисты, вам видна правда... Вы одна, только вы одна можете понять меня. Я люблю, глубоко, бесконечно люблю...

Ирина. Прощайте! Уходите.

Соленый. Я не могу жить без вас. (Идя за ней.) О, мое блаженство! (Сквозь слезы.) О, счастье! Роскошные, чудные, изумительные глаза, каких я не видел ни у одной женщины...

Ирина (холодно). Перестаньте, Василий Васильич!

Соленый. Первый раз я говорю о любви к вам, и точно я не на земле, а на другой планете. (Трет себе лоб.) Ну, да все равно. Насильно мил не будешь, конечно... Но счастливых соперников у меня не должно быть... Не должно... Клянусь вам всем святым, соперника я убью... О, чудная!

Наташа проходит со свечой.

Наташа (заглядывает в одну дверь, в другую и проходит мимо двери, ведущей в комнату мужа). Тут Андрей. Пусть читает. Вы простите, Василий Васильич, я не знала, что вы здесь, я по-домашнему.

Соленый. Мне все равно. Прощайте! (Уходит.)

Наташа. А ты устала, милая, бедная моя девочка! (Целует Ирину.) Ложилась бы спать пораньше.

Ирина. Бобик спит?

Наташа. Спит. Но беспокойно спит. Кстати, милая, я хотела тебе сказать, да все то тебя нет, то мне некогда... Бобику в теперешней детской, мне кажется, холодно и сыро. А твоя комната такая хорошая для ребенка. Милая, родная, переберись пока к Оле!

Ирина (не понимая). Куда?

Слышно, к дому подъезжает тройка с бубенчиками.

Наташа. Ты с Олей будешь в одной комнате пока что, а твою комнату Бобику. Он такой милашка, сегодня я говорю ему: «Бобик, ты мой! Мой!» А он на меня смотрит своими глазеночками.

Звонок.

Должно быть, Ольга. Как она поздно!

Горничная подходит к Наташе и шепчет ей на ухо.

Протопопов? Какой чудак. Приехал Протопопов, зовет меня покататься с ним на тройке. (Смеется.) Какие странные эти мужчины...

Звонок.

Кто-то там пришел. Поехать разве на четверть часика прокатиться... (Горничной.) Скажи, сейчас.

Звонок.

Звонят... там Ольга, должно быть. (Уходит.)

Горничная убегает; Ирина сидит задумавшись; входят Кулыгин, Ольга, за ними Вершинин.

Кулыгин. Вот тебе и раз. А говорили, что у них будет вечер.

Вершинин. Странно, я ушел недавно, полчаса назад, и ждали ряженных...

Ирина. Все ушли.

Кулыгин. И Маша ушла? Куда она ушла? А зачем Протопопов внизу ждет на тройке? Кого он ждет?

Ирина. Не задавайте вопросов... Я устала.

Кулыгин. Ну, капризница...

Ольга. Совет только что кончился. Я замучилась. Наша начальница больна, теперь я вместо нее. Голова, голова болит, голова... (Садится.) Андрей проиграл вчера в карты двести рублей... Весь город говорит об этом...

Кулыгин. Да, и я устал на совете. (Садится.)

Вершинин. Жена моя сейчас вздумала попугать меня, едва не отравилась. Все обошлось, и я рад, отдыхаю теперь... Стало быть, надо уходить? Что ж, позвольте пожелать всего хорошего. Федор Ильич, поедemте со мной куда-нибудь! Я дома не могу оставаться, совсем не могу... Поедемте!

Кулыгин. Устал. Не поеду. (Встает.) Устал. Жена домой пошла?

Ирина. Должно быть.

Кулыгин (целует Ирине руку). Прощай. Завтра и послезавтра целый день отдыхать. Всего хорошего. (Идет.) Чаю очень хочется. Рассчитывал провести вечер в приятном обществе и – о, fallasem hominum spem!..[28] Винительный падеж при восклицании...

Вершинин. Значит, один поеду. (Уходит с Кулыгиным, посвистывая.)

Ольга. Голова болит, голова... Андрей проиграл... весь город говорит... Пойду лягу. (Идет.) Завтра я свободна... О, Боже мой, как это приятно! Завтра свободна, послезавтра свободна... Голова болит, голова... (Уходит.)

Ирина (одна). Все ушли. Никого нет.

На улице гармоника, нянька поет песню.

Наташа (в шубе и шапке идет через залу; за ней горничная). Через полчаса я буду дома. Только проедусь немножко... (Уходит.)

Ирина (оставшись одна, тоскует). В Москву! В Москву! В Москву!

Занавес

Действие третье

Комната Ольги и Ирины. Налево и направо постели, загороженные ширмами. Третий час ночи. За сценой бьют в набат по случаю пожара, начавшегося уже давно. Видно, что в доме еще не ложились спать. На диване лежит Маша, одетая, как обыкновенно, в черное платье.

Входят Ольга и Анфиса.

Анфиса. Сидят теперь внизу под лестницей... А говорю – «пожалуйста наверх, нешто, говорю, можно так», – плачут. «Папаша, говорят, не знаем где. Не дай Бог, говорят, сгорел». Выдумали! И на дворе какие-то... тоже раздетые.

Ольга (вынимает из шкапа платья). Вот это серенькое возьми... И вот это... Кофточку тоже... И эту юбку бери, нянечка... Что же это такое, Боже мой! Кирсановский переулок сгорел весь, очевидно... Это возьми... Это возьми... (Кидает ей на руки платье.) Вершинины, бедные, напугались... Их дом едва не сгорел. Пусть у нас переночуют... домой их нельзя пускать... У бедного Федотика все сгорело, ничего не осталось...

Анфиса. Ферапонта позвала бы, Олюшка, а то не донесу...

Ольга (звонит). Не дозвонишься... (В дверь.) Подите сюда, кто там есть!

В открытую дверь видно окно, красное от зарева; слышно, как мимо дома проезжает пожарная команда.

Какой это ужас. И как надоело!

Входит Ферапонт.

Вот возьми, снеси вниз... Там под лестницей стоят барышни Колотилины... отдай им. И это отдай...

Ферапонт. Слушаю. В двенадцатом году Москва тоже горела. Господи ты Боже мой! Французы удивлялись.

Ольга. Иди, ступай...

Ферапонт. Слушаю. (Уходит.)

Ольга. Нянечка, милая, все отдавай. Ничего нам не надо, все отдавай, нянечка... Я устала, едва на ногах стою... Вершининых нельзя отпускать домой... Девочки лягут в гостиной, Александра Игнатьича вниз к барону... Федотика тоже к барону, или пусть у нас в зале... Доктор, как нарочно, пьян, ужасно пьян, и к нему никого нельзя. И жену Вершинина тоже в гостиной.

Анфиса (утомленно). Олюшка, милая, не гони ты меня! Не гони!

Ольга. Глупости ты говоришь, няня. Никто тебя не гонит.

Анфиса (кладет ей голову на грудь). Родная моя, золотая моя, я тружусь, я работаю... Слаба стану, все скажут: пошла! А куда я пойду? Куда? Восемьдесят лет. Восемьдесят второй год...

Ольга. Ты посиди, нянечка... Устала ты, бедная... (Усаживает ее.) Отдохни, моя хорошая. Побледнела как!

Наташа входит.

Наташа. Там говорят, поскорее нужно составить общество для помощи погорельцам. Что ж? Прекрасная мысль. Вообще нужно помогать бедным людям, это обязанность богатых. Бобик и Софочка спят себе, спят, как ни в чем не бывало. У нас так много народу везде, куда ни пойдешь, полон дом. Теперь в городе инфлюэнца, боюсь, как бы не захватили дети.

Ольга (не слушая ее). В этой комнате не видно пожара, тут покойно...

Наташа. Да... Я, должно быть, растрепанная. (Перед зеркалом.) Говорят, я пополнела... и неправда! Ничуть! А Маша спит, утомилась, бедная... (Анфисе холодно.) При мне не смей сидеть! Встань! Ступай отсюда!

Анфиса уходит; пауза.

И зачем ты держишь эту старуху, не понимаю!

Ольга (оторопев). Извини, я тоже не понимаю...

Наташа. Ни к чему она тут. Она крестьянка, должна в деревне жить... Что за баловство! Я люблю в доме порядок! Лишних не должно быть в доме. (Гладит ее по щеке.) Ты, бедняжка, устала! Устала наша начальница! А когда моя Софочка вырастет и поступит в гимназию, я буду тебя бояться.

Ольга. Не буду я начальницей.

Наташа. Тебя выберут, Олечка. Это решено.

Ольга. Я откажусь. Не могу... Это мне не по силам... (Пьет воду.) Ты сейчас так грубо обошлась с няней... Прости, я не в состоянии переносить... даже в глазах потемнело...

Наташа (взволнованно). Прости, Оля, прости... Я не хотела тебя огорчать.

Маша встает, берет подушку и уходит, сердитая.

Ольга. Пойми, милая... мы воспитаны, быть может, странно, но я не переношу этого. Подобное отношение угнетает меня, я заболеваю... я просто падаю духом!

Наташа. Прости, прости... (Целует ее.)

Ольга. Всякая, даже малейшая грубость, неделикатно сказанное слово волнует меня...

Наташа. Я часто говорю лишнее, это правда, но согласись, моя милая, она могла бы жить в деревне.

Ольга. Она уже тридцать лет у нас.

Наташа. Но ведь теперь она не может работать! Или я тебя не понимаю, или же ты не хочешь меня понять. Она не способна к труду, она только спит или сидит.

Ольга. И пускай сидит.

Наташа (удивленно). Как пускай сидит? Но ведь она же прислуга. (Сквозь слезы.) Я тебя не понимаю, Оля. У меня нянька есть, кормилица есть, у нас горничная, кухарка... для чего же нам еще эта старуха? Для чего?

За сценой бьют в набат.

Ольга. В эту ночь я постарела на десять лет.

Наташа. Нам нужно уговориться, Оля. Раз навсегда... Ты в гимназии, я – дома, у тебя ученье, у меня – хозяйство. И если я говорю что насчет прислуги, то знаю, что говорю; я знаю, что го-во-рю.. И чтоб завтра же не было здесь этой старой воровки, старой хрычовки... (стучит ногами) этой ведьмы!.. Не смей меня раздражать! Не смей! (Спохватившись.) Право, если ты не переберешься вниз, то мы всегда будем ссориться. Это ужасно.

Входит Кулыгин.

Кулыгин. Где Маша? Нам пора бы уже домой. Пожар, говорят, стихает. (Потягивается.) Сгорел только один квартал, а ведь был ветер, вначале казалось, горит весь город. (Садится.) Утомился. Олечка моя милая... Я часто думаю: если бы не Маша, то я на тебе б женился, Олечка. Ты очень хорошая... Замучился. (Прислушивается.)

Ольга. Что?

Кулыгин. Как нарочно, у доктора запой, пьян он ужасно. Как нарочно! (Встает.) Вот он идет сюда, кажется... Слышите? Да, сюда... (Смеется.) Экий какой, право... Я спрячусь. (Идет в угол к шкапу.) Этаким разбойник.

Ольга. Два года не пил, а тут вдруг взял и напился... (Идет с Наташей в глубину комнаты.)

Чебутыкин входит; не шатаясь, как трезвый, проходит по комнате, останавливается, смотрит, потом подходит к раковине и начинает мыть руки.

Чебутыкин (угрюмо). Черт бы всех побрал... подрал... Думают, я доктор, умею лечить всякие болезни, а я не знаю решительно ничего, все позабыл, что знал, ничего не помню, решительно ничего.

Ольга и Наташа, незаметно для него, уходят.

Черт бы побрал. В прошлую среду лечил на Засыпи женщину – умерла, и я виноват, что она умерла. Да... Кое-что знал лет двадцать пять назад, а теперь ничего не помню. Ничего... В голове пусто, на душе холодно. Может быть, я и не человек, а только делаю вид, что у меня руки и ноги... и голова; может быть, я и не существую вовсе, а только кажется мне, что я хожу, ем, сплю. (Плачет.) О, если бы не существовать! (Перестает плакать, угрюмо.) Черт знает... Третьего дня разговор в клубе; говорят, Шекспир, Вольтер... Я не читал, совсем не читал, а на лице своем показал, будто читал. И другие тоже, как я. Пошлость! Низость! И та женщина, что

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
уморил в среду, вспомнилась... и все вспомнилось, и стало на душе криво, гадко,  
мерзко... пошел, запил...

Ирина, Вершинин и Тузенбах входят; на Тузенбахе штатское платье, новое и модное.

Ирина. Здесь посидим. Сюда никто не войдет.

Вершинин. Если бы не солдаты, то сгорел бы весь город. Молодцы! (Потирает от удовольствия руки.) Золотой народ! Ах, что за молодцы!

Кулыгин (подходя к ним). Который час, господа?

Тузенбах. Уже четвертый час. Светает.

Ирина. Все сидят в зале, никто не уходит. И ваш этот Соленый сидит... (Чебутыкину.) Вы бы, доктор, шли спать.

Чебутыкин. Ничего-с... Благодарю-с. (Причесывает бороду.)

Кулыгин (смеется). Назююкался, Иван Романыч! (Хлопает по плечу.) Молодец! In vīno veritas[29], говорили древние.

Тузенбах. Меня всё просят устроить концерт в пользу погорельцев.

Ирина. Ну, кто там...

Тузенбах. Можно бы устроить, если захотеть. Марья Сергеевна, например, играет на рояле чудесно.

Кулыгин. Чудесно играет!

Ирина. Она уже забыла. Три года не играла... или четыре.

Тузенбах. Здесь в городе решительно никто не понимает музыки, ни одна душа, но я, я понимаю и честным словом уверяю вас, Марья Сергеевна играет великолепно, почти талантливо.

Кулыгин. Вы правы, барон. Я ее очень люблю, Машу. Она славная.

Тузенбах. Уметь играть так роскошно и в то же время сознавать, что тебя никто, никто не понимает!

Кулыгин (вздыхает). Да... Но прилично ли ей участвовать в концерте?

Пауза.

Я ведь, господа, ничего не знаю. Может быть, это и хорошо будет. Должен признаться, наш директор хороший человек, даже очень хороший, умнейший, но у него такие взгляды... Конечно, не его дело, но все-таки, если хотите, то я, пожалуй, поговорю с ним.

Чебутыкин берет в руки фарфоровые часы и рассматривает их.

Вершинин. На пожаре я загрязнился весь, ни на что не похож.

Пауза.

Вчера я мельком слышал, будто нашу бригаду хотят перевести куда-то далеко. Одни говорят, в Царство Польское, другие – будто в Читу.

Тузенбах. Я тоже слышал. Что ж? Город тогда совсем опустеет.

Ирина. И мы уедем!

Чебутыкин (роняет часы, которые разбиваются). Вдребезги!

Пауза; все огорчены и сконфужены.

Кулыгин (подбирает осколки). Разбить такую дорогую вещь – ах, Иван Романыч, Иван Романыч! Ноль с минусом вам за поведение!

Ирина. Это часы покойной мамы.

Чебутыкин. Может быть... Мамы так мамы. Может, я не разбивал, а только кажется, что разбил. Может быть, нам только кажется, что мы существуем, а на самом деле нас нет. Ничего я не знаю, никто ничего не знает. (У двери.) Что смотрите? У Наташи романчик с Протопоповым, а вы не видите... Вы вот сидите тут и ничего не видите, а у Наташи романчик с Протопоповым... (Поет.) Не угодно ль этот финик вам принять... (Уходит.)

Вершинин. Да... (Смеется.) Как все это, в сущности, странно!

Пауза.

Когда начался пожар, я побежал скорей домой; подхожу, смотрю – дом наш цел и невредим и вне опасности, но мои две девочки стоят у порога в одном белье, матери нет, суетится народ, бегают лошади, собаки, и у девочек на лицах тревога, ужас, мольба, не знаю что; сердце у меня сжалось, когда я увидел эти лица. Боже мой, думаю, что придется пережить еще этим девочкам в течение долгой жизни! Я хватаю их, бегу и все думаю одно: что им придется пережить еще на этом свете!

Набат; пауза.

Прихожу сюда, а мать здесь, кричит, сердится.

Маша входит с подушкой и садится на диван.

И когда мои девочки стояли у порога в одном белье, босые, и улица была красной от огня, был страшный шум, то я подумал, что нечто похожее происходило много лет назад, когда набегал неожиданно враг, грабил, зажигал... Между тем, в сущности, какая разница между тем, что есть и что было! А пройдет еще немного времени, каких-нибудь двести – триста лет, и на нашу теперешнюю жизнь также будут смотреть и со страхом, и с насмешкой, все нынешнее будет казаться и угловатым, и тяжелым, и очень неудобным, и странным. О, наверное, какая это будет жизнь, какая жизнь! (Смеется.) Простите, я опять зафилософствовался. Позвольте продолжать, господа. Мне ужасно хочется философствовать, такое у меня теперь настроение.

Пауза.

Точно спят все. Так я говорю: какая это будет жизнь! Вы можете себе только представить... Вот таких, как вы, в городе теперь только три, в следующих поколениях – больше, все больше и больше, и придет время, когда все изменится по-вашему, жить будут по-вашему, а потом и вы устареете, народятся люди, которые будут лучше вас... (Смеется.) Сегодня у меня какое-то особенное настроение. Хочется жить чертовски... (Поет.) «Любви все возрасты покорны, ее порывы благодетельны...» [30] (Смеется.)

Маша. Трам-там-там...

Вершинин. Трам-там...

Маша. Тра-ра-ра?

Вершинин. Тра-та-та. (Смеется.)

Входит Федотик.

Федотик (танцует). Погорел, погорел! Весь дочиста!

Смех.

Ирина. Что ж за шутки. Все сгорело?

Федотик (смеется). Все дочиста. Ничего не осталось. И гитара сгорела, и фотография сгорела, и все мои письма... И хотел подарить вам записную книжечку – тоже сгорела.

Входит Соленый.

Ирина. Нет, пожалуйста, уходите, Василий Васильич. Сюда нельзя.

Соленый. Почему же это барону можно, а мне нельзя?

Вершинин. Надо уходить, в самом деле. Как пожар?

Соленый. Говорят, стихает. Нет, мне положительно странно, почему это барону можно, а мне нельзя? (Вынимает флакон с духами и прыскается.)

Вершинин. Трам-там-там.

Маша. Трам-там.

Вершинин (смеется, Соленому). Пойдемте в залу.

Соленый. Хорошо-с, так и запишем. Мысль эту можно б боле пояснить, да боюсь, как бы гусей не раздражить...[31] (Глядя на Тузенбаха.) Цып, цып, цып...

Уходит с Вершининым и Федотиком.

Ирина. Как накурил этот Соленый... (В недоумении.) Барон спит! Барон! Барон!

Тузенбах (очнувшись). Устал я, однако... Кирпичный завод... Это я не брежу, а в самом деле, скоро поеду на кирпичный завод, начну работать... Уже был разговор. (Ирине нежно.) Вы такая бледная, прекрасная, обаятельная... Мне кажется, ваша бледность проясняет темный воздух, как свет... Вы печальны, вы недовольны жизнью... О, поедemте со мной, поедemте работать вместе!

Маша. Николай Львович, уходите отсюда.

Тузенбах (смеясь). Вы здесь? Я не вижу. (Целует Ирине руку.) Прощайте, я пойду... Я гляжу на вас теперь, и вспоминается мне, как когда-то давно, в день ваших именин, вы, бодрая, веселая, говорили о радостях труда... И какая мне тогда мерещилась счастливая жизнь! Где она? (Целует руку.) У вас слезы на глазах. Ложитесь спать, уж светает... начинается утро... Если бы мне было позволено отдать за вас жизнь свою!



Маша. Николай Львович, уходите! Ну, что, право...

Тузенбах. Ухожу... (Уходит.)

Маша (ложится). Ты спишь, Федор?

Кулыгин. А?

Маша. Шел бы домой.

Кулыгин. Милая моя Маша, дорогая моя Маша...

Ирина. Она утомилась. Дал бы ей отдохнуть, Федя.

Кулыгин. Сейчас уйду... Жена моя хорошая, славная... Люблю тебя, мою единственную...

Маша (сердито). Amo, amas, amat, amamus, amatis, amant[32].

Кулыгин (смеется). Нет, право, она удивительная. Женат я на тебе семь лет, а кажется, венчались только вчера. Честное слово. Нет, право, ты удивительная женщина. Я доволен, я доволен, я доволен!

Маша. Надоело, надоело, надоело... (Встает и говорит сидя.) И вот не выходит у меня из головы... Просто возмутительно. Сидит гвоздем в голове, не могу молчать. Я про Андрея... Заложил он этот дом в банке, и все деньги забрала его жена, а ведь дом принадлежит не ему одному, а нам четверым! Он должен это знать, если он порядочный человек.

Кулыгин. Охота тебе, Маша! На что тебе? Андрюша кругом должен, ну и Бог с ним.

Маша. Это во всяком случае возмутительно. (Ложится.)

Кулыгин. Мы с тобой не бедны. Я работаю, хожу в гимназию, потом уроки даю... Я честный человек. Простой... Omnia mea mecum porto[33][34], как говорится.

Маша. Мне ничего не нужно, но меня возмущает несправедливость.

Пауза.

Ступай, Федор.

Кулыгин (целует ее). Ты устала, отдохни с полчаса, а я там посижу, подожду. Спи... (Идет.) Я доволен, я доволен, я доволен. (Уходит.)

Ирина. В самом деле, как измелечал наш Андрей, как он выдохся и постарел около этой женщины! Когда-то готовился в профессора, а вчера хвалился, что попал наконец в члены земской управы. Он член управы, а Протопопов председатель... Весь город говорит, смеется, и только он один ничего не знает и не видит... И вот все побежали на пожар, а он сидит у себя в комнате и никакого внимания. Только на скрипке играет. (Нервно.) О, ужасно, ужасно, ужасно! (Плачет.) Я не могу, не могу переносить больше!.. Не могу, не могу!..

Ольга входит, убирает около своего столика.

(Громко рыдает.) Выбросьте меня, выбросьте, я больше не могу!..

Ольга (испугавшись). Что ты, что ты? Милая!

Ирина (рыдая). Куда? Куда все ушло? Где оно? О, Боже мой, Боже мой! Я все забыла, забыла... у меня перепуталось в голове... Я не помню, как по-итальянски окно или вот потолок... Все забываю, каждый день забываю, а жизнь уходит и никогда не вернется, никогда, никогда мы не уедем в Москву... Я вижу, что не уедем...

Ольга. Милая, милая...

Ирина (сдерживаясь). О, я несчастная... Не могу я работать, не стану работать. Довольно, довольно! Была телеграфисткой, теперь служу в городской управе и ненавижу, презираю все, что только мне дают делать... Мне уже двадцать четвертый год, работаю уже давно, и мозг высох, похудела, подурнела, постарела, и ничего, ничего, никакого удовлетворения, а время идет, и все кажется, что уходишь от настоящей прекрасной жизни, уходишь все дальше и дальше, в какую-то пропасть. Я в отчаянии, я в отчаянии! И как я жива, как не убила себя до сих пор, не понимаю...

Ольга. Не плачь, моя девочка, не плачь... Я страдаю.

Ирина. Я не плачу, не плачу... Довольно... Ну, вот я уже не плачу. Довольно... Довольно!

Ольга. Милая, говорю тебе как сестра, как друг, если хочешь моего совета, выходи за барона!

Ирина тихо плачет.

Ведь ты его уважаешь, высоко ценишь... Он, правда, некрасивый, но он такой порядочный, чистый... Ведь замуж выходят не из любви, а только для того, чтобы исполнить свой долг. Я по крайней мере так думаю, и я бы вышла без любви. Кто бы ни посватал, все равно бы пошла, лишь бы порядочный человек. Даже за старика бы пошла...

Ирина. Я все ждала, переселимся в Москву, там мне встретится мой настоящий, я мечтала о нем, любила... Но оказалось, все вздор, все вздор...

Ольга (обнимает сестру). Милая моя, прекрасная сестра, я все понимаю; когда барон Николай Львович оставил военную службу и пришел к нам в пиджаке, то показался мне таким некрасивым, что я даже заплакала... Он спрашивает: «Что вы плачете?» Как я ему скажу! Но если бы Бог привел ему жениться на тебе, то я была бы счастлива. Тут ведь другое, совсем другое.

Наташа со свечой проходит через сцену из правой двери в левую молча.

Маша (садится). Она ходит так, как будто она подохла.

Ольга. Ты, Маша, глупая. Самая глупая в нашей семье это ты. Извини, пожалуйста.

Пауза.

Маша. Мне хочется каяться, милые сестры. Томится душа моя. Покаюсь вам и уж больше никому, никогда... Скажу сию минуту. (Тихо.) Это моя тайна, но вы все должны знать... Не могу молчать...

Пауза.

Я люблю, люблю... Люблю этого человека... Вы его только что видели... Ну, да что там. Одним словом, люблю Вершинина...

Ольга (идет к себе за ширму). Оставь это. Я все равно не слышу.

Маша. Что же делать! (Берется за голову.) Он казался мне сначала странным, потом я жалела его... потом полюбила... полюбила с его голосом, его словами, несчастьями, двумя девочками...

Ольга (за ширмой). Я не слышу, все равно. Какие бы ты глупости ни говорила, я

все равно не слышу.

Маша. Э, чудная ты, Оля. Люблю – такая, значит, судьба моя. Значит, доля моя такая... И он меня любит... Это все страшно. Да? Нехорошо это? (Тянет Ирину за руку, привлекает к себе.) О моя милая... Как-то мы проживем нашу жизнь, что из нас будет... Когда читаешь роман какой-нибудь, то кажется, что все это старо, и все так понятно, а как сама полюбишь, то и видно тебе, что никто ничего не знает и каждый должен решать сам за себя... Милые мои, сестры мои... Призналась вам, теперь буду молчать... Буду теперь, как гоголевский сумасшедший... молчание... молчание...[35]

Входит Андрей, за ним Ферапонт.

Андрей (сердито). Что тебе нужно? Я не понимаю.

Ферапонт (в дверях, нетерпеливо). Я, Андрей Сергеич, уж говорил раз десять.

Андрей. Во-первых, я тебе не Андрей Сергеич, а ваше высокоблагородие!

Ферапонт. Пожарные, ваше высокоблагородие, просят, дозволейте на реку садом проехать. А то кругом ездют, ездют – чистое наказание.

Андрей. Хорошо. Скажи, хорошо.

Ферапонт уходит.

Надоели. Где Ольга?

Ольга показывается из-за ширмы.

Я пришел к тебе, дай мне ключ от шкапа, я затерял свой. У тебя есть такой маленький ключик.

Ольга подает ему молча ключ. Ирина идет к себе за ширму; пауза.

А какой громадный пожар! Теперь стало утихать. Черт знает, разозлил меня этот Ферапонт, я сказал ему глупость... Ваше высокоблагородие...

Пауза.

Что же ты молчишь, Оля?

Пауза.

Пора уже оставить эти глупости и не дуться так, здорово-живешь... Ты, Маша, здесь, Ирина здесь, ну вот прекрасно – объяснимся начистоту, раз навсегда. Что вы имеете против меня? Что?

Ольга. Оставь, Андрюша. Завтра объяснимся. (Волнуясь.) Какая мучительная ночь!

Андрей (он очень смущен). Не волнуйся. Я совершенно хладнокровно вас спрашиваю: что вы имеете против меня? Говорите прямо.

Голос Вершинина: «Трам-там-там!»

Маша (встает, громко). Тра-та-та! (Ольге.) Прощай, Оля, Господь с тобой. (Идет за ширму, целует Ирину.) Спи покойно... Прощай, Андрей. Уходи, они утомлены... завтра объяснишься... (Уходит.)

Ольга. В самом деле, Андрюша, отложим до завтра... (Идет к себе за ширму.) Спать пора.

Андрей. Только скажу и уйду. Сейчас... Во-первых, вы имеете что-то против Наташи, моей жены, и это я замечаю с самого дня моей свадьбы. Если желаете знать, Наташа прекрасный, честный человек, прямой и благородный – вот мое мнение. Свою жену я люблю и уважаю, понимаете, уважаю и требую, чтобы ее уважали также и другие. Повторяю, она честный, благородный человек, а все ваши неудовольствия, простите, это просто капризы...

Пауза.

Во-вторых, вы как будто сердитесь за то, что я не профессор, не занимаюсь наукой. Но я служу в земстве, я член земской управы и это свое служение считаю таким же святым и высоким, как служение науке. Я член земской управы и горжусь этим, если желаете знать...

Пауза.

В-третьих... Я еще имею сказать... Я заложил дом, не испросив у вас позволения... В этом я виноват, да, и прошу меня извинить. Меня побудили к тому долги... тридцать пять тысяч... Я уже не играю в карты, давно бросил, но главное, что могу сказать в свое оправдание, это то, что вы девушки, вы получаете пенсию, я же не имел... заработка, так сказать...

Пауза.

Кулыгин (в дверь). Маши здесь нет? (Встревоженно.) Где же она? Это странно... (Уходит.)

Андрей. Не слушают. Наташа превосходный, честный человек. (Ходит по сцене молча, потом останавливается.) Когда я женился, я думал, что мы будем счастливы... все счастливы... Но Боже мой... (Плачет.) Милые мои сестры, дорогие сестры, не верьте мне, не верьте... (Уходит.)

Кулыгин (в дверь встревоженно). Где Маша? Здесь Маши нет? Удивительное дело. (Уходит.)

Набат, сцена пустая.

Ирина (за ширмами). Оля! Кто это стучит в пол?

Ольга. Это доктор Иван Романыч. Он пьян.

Ирина. Какая беспокойная ночь!

Пауза.

Оля! (Выглядывает из-за ширм.) Слышала? Бригаду берут от нас, переводят куда-то далеко.

Ольга. Это слухи только.

Ирина. Останемся мы тогда одни... Оля!

Ольга. Ну?

Ирина. Милая, дорогая, я уважаю, я ценю барона, он прекрасный человек, я выйду за него, согласна, только поедem в Москву! Умоляю тебя, поедem! Лучше Москвы нет ничего на свете! Поедem, Оля! Поедem!

Занавес

Действие четвертое

Старый сад при доме Прозоровых. Длинная еловая аллея, в конце которой видна река. На той стороне реки – лес. Направо терраса дома; здесь на столе бутылки и стаканы; видно, что только что пили шампанское. Двенадцать часов дня. С улицы к реке через сад ходят изредка прохожие; быстро проходят человек пять солдат.

Чебутыкин в благодушном настроении, которое не покидает его в течение всего акта, сидит в кресле, в саду, ждет, когда его позовут; он в фуражке и с палкой. Ирина, Кулыгин с орденом на шее, без усов, и Тузенбах, стоя на террасе, провожают Федотик а и Родэ, которые сходят вниз; оба офицера в походной форме.

Тузенбах (целуется с Федотиком). Вы хороший, мы жили так дружно. (Целуется с Родэ.) Еще раз... Прощайте, дорогой мой!

Ирина. До свиданья!

Федотик. Не до свиданья, а прощайте, мы больше уже никогда не увидимся!

Кулыгин. Кто знает! (Вытирает глаза, улыбается.) Вот и я заплакал.

Ирина. Когда-нибудь встретимся.

Федотик. Лет через десять – пятнадцать? Но тогда мы едва узнаем друг друга, холодно поздороваемся... (Снимает фотографию.) Стойте... Еще в последний раз.

Родэ (обнимает Тузенбаха). Не увидимся больше... (Целует руку Ирине.) Спасибо за все, за все!

Федотик (с досадой). Да постой!

Тузенбах. Даст Бог, увидимся. Пишите же нам. Непременно пишите.

Родэ (окидывает взглядом сад). Прощайте, деревья! (Кричит.) Гоп-гоп!

Пауза.

Прощай, эхо!

Кулыгин. Чего доброго, женитесь там, в Польше... Жена полька обнимет и скажет: «Кохане!» (Смеется.)

Федотик (взглянув на часы). Осталось меньше часа. Из нашей батареи только Соленый пойдет на барже, мы же со строевой частью. Сегодня уйдут три батареи дивизионно, завтра опять три – и в городе наступит тишина и спокойствие.

Тузенбах. И скучища страшная.

Родэ. А Мария Сергеевна где?

Кулыгин. Маша в саду.

Федотик. С ней проститься.

Родэ. Прощайте, надо уходить, а то я заплачу... (Обнимает быстро Тузенбаха и Кулыгина, целует руку Ирине.) Прекрасно мы здесь пожили...

Федотик (Кулыгину). Это вам на память... книжка с карандашиком... Мы здесь пойдём к реке...

Отходят, оба оглядываются.

Родэ (кричит). Гоп-гоп!

Кулыгин (кричит). Прощайте!

В глубине сцены Федотик и Родэ встречаются с Машей и прощаются с нею: она уходит с ними.

Ирина. Ушли... (Садится на нижнюю ступень террасы.)

Чебутыкин. А со мной забыли проститься.

Ирина. Вы же чего?

Чебутыкин. Да и я как-то забыл. Впрочем, скоро увижусь с ними, уйду завтра. Да... Еще один денек остался. Через год дадут мне отставку, опять приеду сюда и буду доживать свой век около вас. Мне до пенсии только один годочек остался... (кладёт в карман газету, вынимает другую.) Приеду сюда к вам и изменю жизнь коренным образом. Стану таким тихоньким, благо... благоугодным, приличеньким...

Ирина. А вам надо бы изменить жизнь, голубчик. Надо бы как-нибудь.

Чебутыкин. Да. Чувствую. (Тихо напевает.) Тарара... бумбия... сажу на тумбе я...[36]

Кулыгин. Неисправим Иван Романыч! Неисправим!

Чебутыкин. Да вот к вам бы на выучку. Тогда бы исправился.

Ирина. Федор сбрил себе усы. Видеть не могу!

Кулыгин. А что?

Чебутыкин. Я бы сказал, на что теперь похожа ваша физиономия, да не могу.

Кулыгин. Что ж! Так принято, это *modus vivendi*. директор у нас с выбритыми усами, и я тоже, как стал инспектором, побрился. Никому не нравится, а для меня все равно. Я доволен. С усами я или без усов, а я одинаково доволен... (Садится.)

В глубине сцены Андрей провозит в колясочке спящего ребенка.

Ирина. Иван Романыч, голубчик, родной мой, я страшно обеспокоена. Вы вчера были на бульваре, скажите, что произошло там?

Чебутыкин. Что произошло? Ничего. Пустяки. (Читает газету.) Все равно!

Кулыгин. Так рассказывают, будто Солёный и барон встретились вчера на бульваре около театра...

Тузенбах. Перестаньте! Ну что, право... (Машет рукой и уходит в дом.)

Кулыгин. Около театра... Солёный стал придирается к барону, а тот не стерпел,  
Страница 86

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
сказал что-то обидное...

Чебутыкин. Не знаю. Чепуха все.

Кулыгин. В какой-то семинарии учитель написал на сочинении «чепуха», а ученик прочел «реникса» – думал, по-латыни написано. (Смеется.) Смешно удивительно. Говорят, Соленый влюблен в Ирину и будто возненавидел барона... Это понятно. Ирина очень хорошая девушка. Она даже похожа на Машу, такая же задумчивая. Только у тебя, Ирина, характер мягче. Хотя и у Маши, впрочем, тоже очень хороший характер. Я ее люблю, Машу.

В глубине сада за сценой: «Ау! Гоп-гоп!»

Ирина (вздрагивает). Меня как-то все пугает сегодня.

Пауза.

У меня уже все готово, я после обеда отправляю свои вещи. Мы с бароном завтра венчаемся, завтра же уезжаем на кирпичный завод, и послезавтра я уже в школе, начинается новая жизнь. Как-то мне поможет Бог! Когда я держала экзамен на учительницу, то даже плакала от радости, от благодати...

Пауза.

Сейчас приедет подвода за вещами...

Кулыгин. Так-то оно так, только как-то все это несерьезно. Одни только идеи, а серьезного мало. Впрочем, от души тебе желаю.

Чебутыкин (в умилении). Славная моя, хорошая... Золотая моя... Далеко вы ушли, не догонишь вас. Остался я позади, точно перелетная птица, которая состарилась, не может лететь. Летите, мои милые, летите с Богом!

Пауза.

Напрасно, Федор Ильич, вы усы себе сбрили.

Кулыгин. Будет вам! (Вздыхает.) Вот сегодня уйдут военные, и все опять пойдет по-старому. Что бы там ни говорили, Маша хорошая, честная женщина, я ее очень люблю и благодарю свою судьбу. Судьба у людей разная... Тут в акцизе служит некто Козырев. Он учился со мной, его уволили из пятого класса гимназии за то, что никак не мог понять *ut consecutivum*. Теперь он ужасно бедствует, болен, и я когда встречаюсь, то говорю ему: «Здравствуй, *ut consecutivum*». Да, говорит, именно *consecutivum*... а сам кашляет. А мне вот всю мою жизнь везет, я счастлив, вот имею даже Станислава второй степени и сам теперь преподаю другим это *ut consecutivum*. Конечно, я умный человек, умнее очень многих, но счастье не в этом...

В доме играют на рояле «Молитву девы» [37].

Ирина. А завтра вечером я уже не буду слышать этой «Молитвы девы», не буду встречаться с Протопоповым...

Пауза.

А Протопопов сидит там в гостиной; и сегодня пришел...

Кулыгин. Начальница еще не приехала?

В глубине сцены тихо проходит Маша, прогуливаясь.

Ирина. Нет. За ней послали. Если б только вы знали, как мне трудно жить здесь одной, без Оли... Она живет в гимназии; она начальница, целый день занята делом, а я одна, мне скучно, нечего делать, и ненавистна комната, в которой живу... Я так и решила: если мне не суждено быть в Москве, то так тому и быть. Значит, судьба. Ничего не поделаешь... Всё в Божьей воле, это правда. Николай Львович сделал мне предложение... Что ж? Подумала и решила. Он хороший человек, удивительно даже, такой хороший... И у меня вдруг точно крылья выросли на душе, я повеселела, стало мне легко и опять захотелось работать, работать... Только вот вчера произошло что-то, какая-то тайна нависла надо мной...

Чебутыкин. Реникса. Чепуха.

Наташа (в окно). Начальница!

Кулыгин. Приехала начальница. Пойдем.

Уходит с Ириной в дом.

Чебутыкин (читает газету и тихо напевает). Тара-ра... бумбия... сижу на тумбе я...

Маша подходит; в глубине Андрей провозит колясочку.

Маша. Сидит себе здесь, посиживает...

Чебутыкин. А что?

Маша (садится). Ничего...

Пауза.

Вы любили мою мать?

Чебутыкин. Очень.

Маша. А она вас?

Чебутыкин (после паузы). Этого я уже не помню.

Маша. Мой здесь? Так когда-то наша кухарка Марфа говорила про своего городского: мой. Мой здесь?

Чебутыкин. Нет еще.

Маша. Когда берешь счастье урывочками, по кусочкам, потом его теряешь, как я, то мало-помалу грубеешь, становишься злющей. (Указывает себе на грудь.) Вот тут у меня кипит... (Глядя на брата Андрея, который провозит колясочку.) Вот Андрей наш, братец... Все надежды пропали. Тысячи народа поднимали колокол, потрачено было много труда и денег, а он вдруг упал и разбился. Вдруг, ни с того ни с сего. Так и Андрей...

Андрей. И когда наконец в доме успокоятся. Такой шум.

Чебутыкин. Скоро. (Смотрит на часы, потом заводит их; часы бьют.) У меня часы



Пьесы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
старинные, с боем... Первая, вторая и пятая батареи уйдут ровно в час.

Пауза.

А я завтра.

Андрей. Навсегда?

Чебутыкин. Не знаю. Может, через год вернусь. Хотя черт его знает... все равно...

Слышно, как где-то далеко играют на арфе и скрипке.

Андрей. Опустеет город. Точно его колпаком накроют.

Пауза.

Что-то произошло вчера около театра; все говорят, а я не знаю.

Чебутыкин. Ничего. Глупости. Соленый стал придирааться к барону, а тот вспылил и оскорбил его, и вышло так в конце концов, что Соленый обязан был вызвать его на дуэль. (Смотрит на часы.) Пора бы, кажется, уж... В половине первого, в казенной роще, вот в той, что отсюда видать за рекой... Пиф-паф. (Смеется.) Соленый воображает, что он Лермонтов, и даже стихи пишет. Вот шутки шутками, а уж у него третья дуэль.

Маша. У кого?

Чебутыкин. У Соленого.

Маша. А у барона?

Чебутыкин. Что у барона?

Пауза.

Маша. В голове у меня перепуталось... Все-таки я говорю, не следует им позволять. Он может ранить барона или даже убить.

Чебутыкин. Барон хороший человек, но одним бароном больше, одним меньше – не все ли равно? Пускай! Все равно!

За садом крик: «Ау! Гоп-гоп!»

Подождешь. Это Скворцов кричит, секундانت. В лодке сидит.

Пауза.

Андрей. По-моему, и участвовать на дуэли, и присутствовать на ней, хотя бы в качестве врача, просто безнравственно.

Чебутыкин. Это только кажется... Ничего нет на свете, нас нет, мы не существуем, а только кажется, что существуем... И не все ли равно!

Маша. Так вот целый день говорят, говорят... (Идет.) Живешь в таком климате, того гляди снег пойдет, а тут еще эти разговоры... (Останавливаясь.) Я не пойду в дом, я не могу туда ходить... Когда придет Вершинин, скажете мне... (Идет по аллее.) А

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
уже летят перелетные птицы... (Глядит вверх.) Лебеди или гуси... Милые мои,  
счастливые мои... (Уходит.)

Андрей. Опустеет наш дом. Уедут офицеры, уедете вы, сестра замуж выйдет, и останусь в доме я один.

Чебутыкин. А жена?

Ферапонт входит с бумагами.

Андрей. Жена есть жена. Она честная, порядочная, ну, добрая, но в ней есть при всем том нечто принижающее ее до мелкого, слепого, этакого шаршавого животного. Во всяком случае, она не человек. Говорю вам как другу, единственному человеку, которому могу открыть свою душу. Я люблю Наташу, это так, но иногда она мне кажется удивительно пошлой, и тогда я теряюсь, не понимаю, за что, отчего я так люблю ее или, по крайней мере, любил...

Чебутыкин (встает). Я, брат, завтра уезжаю, может, никогда не увидимся, так вот тебе мой совет.

Знаешь, надень шапку, возьми в руки палку и уходи... уходи и иди, иди без оглядки. И чем дальше уйдешь, тем лучше.

Соленый проходит в глубине сцены с двумя офицерами; увидев Чебутыкина, он поворачивает к нему; офицеры идут дальше.

Соленый. Доктор, пора! Уже половина первого. (Здоровается с Андреем.)

Чебутыкин. Сейчас. Надоели вы мне все. (Андрею.) Если кто спросит меня, Андрюша, то скажешь, я сейчас... (Вздыхает.) Охо-хо-хо!

Соленый. Он ахнуть не успел, как на него медведь напал. (Идет с ним.) Что вы кричите, старик?

Чебутыкин. Ну!

Соленый. Как здоровье?

Чебутыкин (сердито). Как масло коровье.

Соленый. Старик волнуется напрасно. Я позволю себе немного, я только подстрелю его, как вальдшнепа. (Вынимает духи и брызгает на руки.) Вот вылил сегодня целый флакон, а они всё пахнут. Они у меня пахнут трупом.

Пауза.

Так-с... Помните стихи? А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой... [38]

Чебутыкин. Да. Он ахнуть не успел, как на него медведь напал. (Уходит с Соленым.)

Слышны крики: «Гоп! Ау!» Андрей и Ферапонт входят.

Ферапонт. Бумаги подписать...

Андрей (нервно). Отстань от меня! Отстань! Умоляю! (Уходит с колясочкой.)

Ферапонт. На то ведь и бумаги, чтоб их подписывать. (Уходит в глубину сцены.)

Входят Ирина и Тузенбах в соломенной шляпе, Кулыгин проходит через сцену, крича: «Ау, Маша, ау!»

Тузенбах. Это, кажется, единственный человек в городе, который рад, что уходят военные.

Ирина. Это понятно.

Пауза.

Наш город опустеет теперь.

Тузенбах. Милая, я сейчас приду.

Ирина. Куда ты?

Тузенбах. Мне нужно в город, затем... проводить товарищей.

Ирина. неправда... Николай, отчего ты такой рассеянный сегодня?

Пауза.

Что вчера произошло около театра?

Тузенбах (нетерпеливое движение). Через час я вернусь и опять буду с тобой. (Целует ей руки.) Ненаглядная моя... (Всматривается ей в лицо.) Уже пять лет прошло, как я люблю тебя, и все не могу привыкнуть, и ты кажешься мне все прекраснее. Какие прелестные, чудные волосы! Какие глаза! Я увезу тебя завтра, мы будем работать, будем богаты, мечты мои оживут. Ты будешь счастлива. Только вот одно, только одно: ты меня не любишь!

Ирина. Это не в моей власти! Я буду твоей женой, и верной, и покорной, но любви нет, что же делать! (Плачет.) Я не любила ни разу в жизни. О, я так мечтала о любви, мечтаю уже давно, дни и ночи, но душа моя, как дорогой рояль, который заперт и ключ потерян.

Пауза.

У тебя беспокойный взгляд.

Тузенбах. Я не спал всю ночь. В моей жизни нет ничего такого страшного, что могло бы испугать меня, и только этот потерянный ключ терзает мою душу, не дает мне спать. Скажи мне что-нибудь.

Пауза.

Скажи мне что-нибудь...

Ирина. Что? Что? Кругом все так таинственно, старые деревья стоят, молчат... (Кладет голову ему на грудь.)

Тузенбах. Скажи мне что-нибудь.

Ирина. Что? Что сказать? Что?

Тузенбах. Что-нибудь.

Ирина. Полно! Полно!

Пауза.

Тузенбах. Какие пустяки, какие глупые мелочи иногда приобретают в жизни значение, вдруг ни с того ни с сего. По-прежнему смеешься над ними, считаешь пустяками, и все же идешь и чувствуешь, что у тебя нет сил остановиться. О, не будем говорить об этом! Мне весело. Я точно первый раз в жизни вижу эти ели, клены, березы, и все смотрит на меня с любопытством и ждет. Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь!

Крик: «Ау! Гоп-гоп!»

Надо идти, уже пора... Вот дерево засохло, но все же оно вместе с другими качается от ветра. Так, мне кажется, если я и умру, то все же буду участвовать в жизни так или иначе. Прощай, моя милая... (Целует руки.) Твои бумаги, что ты мне дала, лежат у меня на столе, под календарем.

Ирина. И я с тобой пойду.

Тузенбах (тревожно). Нет, нет! (Быстро идет, на аллее останавливается.) Ирина!

Ирина. Что?

Тузенбах (не зная, что сказать). Я не пил сегодня кофе. Скажешь, чтобы мне сварили... (Быстро уходит.)

Ирина стоит задумавшись, потом уходит в глубину сцены и садится на качели. Входит Андрей с колясочкой, показывается Ферапонт.

Ферапонт. Андрей Сергеич, бумаги-то ведь не мои, а казенные. Не я их выдумал.

Андрей. О, где оно, куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен, когда я мечтал и мыслил изящно, когда настоящее и будущее мое озарялись надеждой? Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны... Город наш существует уже двести лет, в нем сто тысяч жителей, и ни одного, который не был бы похож на других, ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного ученого, ни одного художника, ни мало-мальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему. Только едят, пьют, спят, потом умирают... рождаются другие и тоже едят, пьют, спят и, чтобы не отупеть от скуки, разнообразят жизнь свою гадкой сплетней, водкой, картами, сутяжничеством, и жены обманывают мужей, а мужья лгут, делают вид, что ничего не видят, ничего не слышат, и неотразимо пошлое влияние гнетет детей, и искра Божия гаснет в них, и они становятся такими же жалкими, похожими друг на друга мертвецами, как их отцы и матери... (Ферапонту сердито.) Что тебе?

Ферапонт. Чего? Бумаги подписать.

Андрей. Надоел ты мне.

Ферапонт (подавая бумаги). Сейчас швейцар из казенной палаты сказывал... Будто, говорит, зимой в Петербурге мороз был в двести градусов.

Андрей. Настоящее противно, но зато когда я думаю о будущем, то как хорошо! Становится так легко, так просторно; и вдали забрезжит свет, я вижу свободу, я вижу, как я и дети мои становимся свободны от праздности, от квасу, от гуся с капустой, от сна после обеда, от подлого тунеядства...

Ферапонт. Две тысячи людей померзло будто. Народ, говорит, ужасался. Не то в

Петербурге, не то в Москве – не упомяну.

Андрей (охваченный нежным чувством). Милые мои сестры, чудные мои сестры!  
(Сквозь слезы.) Маша, сестра моя...

Наташа (в окне). Кто здесь разговаривает так громко? Это ты, Андрюша? Софочку разбудишь. Il ne faut pas faire du bruit, la Sophie est dormée déjà. Vous êtes un ours[39]. (Рассердившись.) Если хочешь разговаривать, то отдай колясочку с ребенком кому-нибудь другому. Ферапонт, возьми у барина колясочку!

Ферапонт. Слушаю. (Берет колясочку.)

Андрей (сконфуженно). Я говорю тихо.

Наташа (за окном, лаская своего мальчика). Бобик! Шалун Бобик! Дурной Бобик!

Андрей (оглядывая бумаги). Ладно, пересмотрю и, что нужно, подпишу, а ты снесешь опять в управу... (Уходит в дом, читая бумаги; Ферапонт везет колясочку.)

Наташа (за окном). Бобик, как зовут твою маму? Милый, милый! А это кто? Это тетя Оля. Скажи тете: здравствуй, Оля!

Бродячие музыканты, мужчина и девушка, играют на скрипке и арфе; из дому выходят Вершинин, Ольга и Анфиса и с минуту слушают молча; подходит Ирина.

Ольга. Наш сад, как проходной двор, через него и ходят, и ездят. Няня, дай этим музыкантам что-нибудь!..

Анфиса (подаёт музыкантам). Уходите с Богом, сердечные. (Музыканты кланяются и уходят.) Горький народ. От сытости не заиграешь. (Ирине.) Здравствуй, Ариша! (Целует ее.) И-и, деточка, вот живу! Вот живу! В гимназии на казенной квартире, золотая, вместе с Олюшкой – определил Господь на старости лет. Отродясь я, грешница, так не жила.. Квартира большая, казенная, и мне цельная комнатка и кроватка. Все казенное. Проснусь ночью и – о Господи, Матерь Божия, счастливей меня человека нету!

Вершинин (взглянув на часы). Сейчас уходим, Ольга Сергеевна. Мне пора.

Пауза.

Я желаю вам всего, всего... Где Мария Сергеевна?

Ирина. Она где-то в саду. Я пойду поищу ее.

Вершинин. Будьте добры. Я тороплюсь.

Анфиса. Пойду и я поищу. (Кричит.) Машенька, ау!

Уходит вместе с Ириной в глубину сада.

А-у, а-у!

Вершинин. Все имеет свой конец. Вот и мы расстаемся. (Смотрит на часы.) Город давал нам что-то вроде завтрака, пили шампанское, городской голова говорил речь, я ел и слушал, а душой был здесь, у вас... (Оглядывает сад.) Привык я к вам.

Ольга. Увидимся ли мы еще когда-нибудь?

Вершинин. Должно быть, нет.

Пауза.

Жена моя и обе девочки проживут здесь еще месяца два; пожалуйста, если что случится или что понадобится...

Ольга. Да, да, конечно. Будьте покойны.

Пауза.

В городе завтра не будет уже ни одного военного, все станет воспоминанием, и, конечно, для нас начнется новая жизнь...

Пауза.

Все делается не по-нашему. Я не хотела быть начальницей и все-таки сделалась ею. В Москве, значит, не быть...

Вершинин. Ну... Спасибо вам за все. Простите мне, если что не так... Много, очень уж много я говорил – и за это простите, не поминайте лихом.

Ольга (утирает глаза). Что ж это Маша не идет...

Вершинин. Что же еще вам сказать на прощание? О чем пофилософствовать?... (Смеется.) Жизнь тяжела. Она представляется многим из нас глухой и безнадежной, но все же, надо сознаться, она становится все яснее и легче, и, по-видимому, не далеко время, когда она станет совсем ясной. (Смотрит на часы.) Пора мне, пора! Прежде человечество было занято войнами, заполняя все свое существование походами, набегами, победами, теперь же все это отжило, оставит после себя громадное пустое место, которое пока нечем заполнить: человечество страстно ищет и, конечно, найдет. Ах, только бы поскорее!

Пауза.

Если бы, знаете, к трудолюбию прибавить образование, а к образованию трудолюбие. (Смотрит на часы.) Мне, однако, пора...

Ольга. Вот она идет.

Маша входит.

Вершинин. Я пришел проститься...

Ольга отходит немного в сторону, чтобы не помешать прощанию.

Маша (смотрит ему в лицо). Прощай...

Продолжительный поцелуй.

Ольга. Будет, будет...

Маша сильно рыдает.

Вершинин. Пиши мне... Не забывай! Пусти меня... пора... Ольга Сергеевна, возьмите ее, мне уже... пора... опоздал... (Растроганный, целует руки Ольге, потом еще раз обнимает

Машу и быстро уходит.)

Ольга. Будет, Маша! Перестань, милая...

Входит Кулыгин.

Кулыгин (в смущении). Ничего, пусть поплачет, пусть... Хорошая моя Маша, добрая моя Маша... Ты моя жена, и я счастлив, что бы там ни было... Я не жалею, не делаю тебе ни одного упрека... вот и Оля свидетельница... Начнем жить опять по-старому, и я тебе ни одного слова, ни намека...

Маша (сдерживая рыдания). «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том...» золотая цепь на дубе том... Я с ума схожу... У лукоморья... дуб зеленый...

Ольга. Успокойся, Маша... Успокойся... Дай ей воды.

Маша. Я больше не плачу...

Кулыгин. Она уже не плачет... она добрая...

Слышен глухой далекий выстрел.

Маша. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том...»[40] Кот зеленый... дуб зеленый... Я путаю... (Пьет воду.) Неудачная жизнь... Ничего мне теперь не нужно... Я сейчас успокоюсь... Все равно... Что значит у лукоморья? Почему это слово у меня в голове? Путаются мысли.

Ирина входит.

Ольга. Успокойся, Маша. Ну, вот умница... Пойдем в комнату.

Маша (сердито). Не пойду я туда. (Рыдает, но тотчас же останавливается.) Я в дом уже не хожу и не пойду...

Ирина. Давайте посидим вместе, хоть помолчим. Ведь завтра я уезжаю...

Пауза.

Кулыгин. Вчера в третьем классе у одного мальчугана я отнял вот усы и бороду... (Надевает усы и бороду.) Похож на учителя немецкого языка... (Смеется.) Не правда ли? Смешные эти мальчишки.

Маша. В самом деле похож на вашего немца.

Ольга (смеется). Да.

Маша плачет.

Ирина. Будет, Маша!

Кулыгин. Очень похож...

Входит Наташа.

Наташа (горничной). Что? С Софочкой посидит Протопопов, Михаил Иванович, а Бобика пусть покатает Андрей Сергеич. Столько хлопот с детьми... (Ирине.) Ты завтра

уезжаешь, Ирина, – такая жалость. Останься еще хоть неделку. (Увидев Кулыгина, вскрикивает; тот смеется и снимает усы и бороду.) Ну вас, совсем испугали! (Ирине.) Я к тебе привыкла и расстаться с тобой, ты думаешь, мне будет легко? В твою комнату я велю переселить Андрея с его скрипкой – пусть там пилит! – а в его комнату мы поместим Софочку. Дивный, чудный ребенок! Что за девчурочка! Сегодня она посмотрела на меня своими глазками и – «мама»!

Кулыгин. Прекрасный ребенок, это верно.

Наташа. Значит, завтра я уже одна тут. (Вздыхает.) Велю прежде всего срубить эту еловую аллею, потом вот этот клен. По вечерам он такой страшный, некрасивый... (Ирине.) Милая, совсем не к лицу тебе этот пояс... Это безвкусица. Надо что-нибудь светленькое. И тут везде я велю понасажать цветочков, цветочков, и будет запах... (Строго.) Зачем здесь на скамье валяется вилка? (Проходя в дом, горничной.) Зачем здесь на скамье валяется вилка, я спрашиваю? (Кричит.) Молчать!

Кулыгин. Разошлась!

За сценой музыка играет марш; все слушают.

Ольга. Уходят.

Входит Чебутыкин.

Маша. Уходят наши. Ну, что ж... Счастливым им путь! (Мужу.) Надо домой... Где моя шляпа и талька...

Кулыгин. Я в дом отнес... Принесу сейчас. (Уходит в дом.)

Ольга. Да, теперь можно по домам. Пора.

Чебутыкин. Ольга Сергеевна!

Ольга. Что?

Пауза.

Что?

Чебутыкин. Ничего... Не знаю, как сказать вам... (Шепчет ей на ухо.)

Ольга (в испуге). Не может быть!

Чебутыкин. Да... такая история... Утомился я, замучился, больше не хочу говорить... (С досадой.) Впрочем, все равно!

Маша. Что случилось?

Ольга (обнимает Ирину). Ужасный сегодня день... Я не знаю, как тебе сказать, моя дорогая...

Ирина. Что? Говорите скорей: что? Бога ради! (Плачет.)

Чебутыкин. Сейчас на дуэли убит барон.

Ирина. Я знала, я знала...

Чебутыкин (в глубине сцены садится на скамью). Утомился... (Вынимает из кармана газету.) Пусть поплачут... (Тихо напевает.) Та-ра-ра-бумбия... сию на тумбе я... Не все ли равно!



Три сестры стоят, прижавшись друг к другу.

Маша. О, как играет музыка! Они уходят от нас, один ушел совсем, совсем навсегда, мы останемся одни, чтобы начать нашу жизнь снова. Надо жить... Надо жить...

Ирина (кладет голову на грудь Ольге). Придет время, все узнают, зачем все это, для чего эти страдания, никаких не будет тайн, а пока надо жить... надо работать, только работать! Завтра я поеду одна, буду учить в школе и всю свою жизнь отдам тем, кому она, быть может, нужна. Теперь осень, скоро придет зима, засыплет снегом, а я буду работать, буду работать...

Ольга (обнимает обеих сестер). Музыка играет так весело, бодро, и хочется жить! О, Боже мой! Пройдет время, и мы уйдем навеки, нас забудут, забудут наши лица, голоса и сколько нас было, но страдания наши перейдут в радость для тех, кто будет жить после нас, счастье и мир настанут на земле, и помянут добрым словом и благословят тех, кто живет теперь. О, милые сестры, жизнь наша еще не кончена. Будем жить! Музыка играет так весело, так радостно, и, кажется, еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем... Если бы знать, если бы знать!

Музыка играет все тише и тише; Кулыгин, веселый, улыбающийся, несет шляпу и тальму, Андрей везет другую колясочку, в которой сидит Бобик.

Чебутыкин (тихо напевает). Тара... ра... бумбия... сажу на тумбе я... (читает газету.)  
Все равно! Все равно!

Ольга. Если бы знать, если бы знать!

Занавес

Вишневый сад[41]  
Комедия в четырех действиях

Действующие лица  
Раневская Любовь Андреевна, помещица.

Аня, ее дочь, 17 лет.

Варя, ее приемная дочь, 24 лет.

Гаев Леонид Андреевич, брат Раневской.

Лопухин Ермолай Алексеевич, купец.

Трофимов Петр Сергеевич, студент.

Симеонов-Пищик Борис Борисович, помещик.

Шарлотта Ивановна, гувернантка.

Епиходов Семен Пантелеевич, конторщик.

Дуняша, горничная.

Фирс, лакей, старик 87 лет.

Яша, молодой лакей.

Прохожий.

Начальник станции.

Почтовый чиновник.

Гости, прислуга.

Действие происходит в имении Л. А. Раневской.

Действие первое

Комната, которая до сих пор называется детской. Одна из дверей ведет в комнату Ани. Рассвет, скоро взойдет солнце. Уже май, цветут вишневые деревья, но в саду холодно, утренник. Окна в комнате закрыты.

Входят Дуняша со свечой и Лопахин с книгой в руке.

Лопахин. Пришел поезд, слава Богу. Который час?

Дуняша. Скоро два. (Тушит свечу.) Уже светло.

Лопахин. На сколько же это опоздал поезд? Часа на два, по крайней мере. (Зевает и потягивается.) Я-то хорош, какого дурака сваял! Нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал... Сидя уснул. Досада... Хоть бы ты меня разбудила.

Дуняша. Я думала, что вы уехали. (Прислушивается.) Вот, кажется, уже едут.

Лопахин (прислушивается). Нет... Багаж получить, то да се...

Пауза.

Любовь Андреевна прожила за границей пять лет, не знаю, какая она теперь стала... Хороший она человек. Легкий, простой человек. Помню, когда я был мальчонком лет пятнадцати, отец мой покойный – он тогда здесь на деревне в лавке торговал – ударил меня по лицу кулаком, кровь пошла из носу... Мы тогда вместе пришли зачем-то во двор, и он выпивши был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, еще молоденькая, такая худенькая, подвела меня к рукомоинику, вот в этой самой комнате, в детской. «Не плачь, – говорит, – мужичок, до свадьбы заживет...»

Пауза.

Мужичок... Отец мой, правда, мужик был, а я вот в белой жилетке, желтых башмаках. Со свиным рылом в калашный ряд... Только что вот богатый, денег много, а ежели подумать и разобраться, то мужик мужиком... (Перелистывает книгу.) Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул.

Пауза.

Дуняша. А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут.

Лопахин. Что ты, Дуняша, такая...

Дуняша. Руки трясутся. Я в обморок упаду.

Лопахин. Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься, как барышня, и прическа тоже. Так нельзя. Надо себя помнить.

Входит Епиходов с букетом; он в пиджаке и в ярко вычищенных сапогах, которые

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
сильно скрипят; войдя, он роняет букет.

Епиходов (поднимает букет). Вот садовник прислал, говорит, в столовой поставить.  
(Отдает дуняше букет.)

Лопехин. И квасу мне принесешь.

Дуныша. Слушаю. (Уходит.)

Епиходов. Сейчас утренняя, мороз в три градуса, а вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. (Вздыхает.) Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ермолай Алексеич, позвольте вам присовокупить, купил я себе третьего дня сапоги, а они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой возможности. Чем бы смазать?

Лопехин. Отстань. Надоел.

Епиходов. Каждый день случается со мной какое-нибудь несчастье. И я не ропщу, привык и даже улыбаюсь.

Дуныша входит, подает Лопехину квас.

Я пойду. (Натыкается на стул, который падает.) Вот... (Как бы торжествуя.) Вот видите, извините за выражение, какое обстоятельство, между прочим... Это просто даже замечательно! (Уходит.)

Дуныша. А мне, Ермолай Алексеич, признаться, Епиходов предложение сделал.

Лопехин. А!

Дуныша. Не знаю уж как... Человек он смирный, а только иной раз как начнет говорить, ничего не поймешь. И хорошо, и чувствительно, только непонятно. Мне он как будто и нравится. Он меня любит безумно. Человек он несчастливый, каждый день что-нибудь. Его так и дразнят у нас: двадцать два несчастья...

Лопехин (прислушивается). Вот, кажется, едут...

Дуныша. Едут! Что ж это со мной... похолодела вся.

Лопехин. Едут, в самом деле. Пойдем встречать. Узнает ли она меня? Пять лет не видалась.

Дуныша (в волнении). Я сейчас упаду... Ах, упаду!

Слышно, как к дому подъезжают два экипажа. Лопехин и Дуныша быстро уходят. Сцена пуста. В соседних комнатах начинается шум. Через сцену, опираясь на палочку, торопливо проходит Фирс, ездивший встречать Любовь Андреевну; он в старинной ливрее и в высокой шляпе: что-то говорит сам с собой, но нельзя разобрать ни одного слова. Шум за сценой все усиливается. Голос: «Вот пройдемте здесь...» Любовь Андреевна, Аня и Шарлотта Ивановна с собачкой на цепочке, одеты по-дорожному. Варя в пальто и платке, Гаев, Симеонов-Пищик, Лопехин, Дуныша с узлом и зонтиком, прислуга с вещами – все идут через комнату.

Аня. Пройдемте здесь. Ты, мама, помнишь, какая это комната?

Любовь Андреевна (радостно, сквозь слезы). Детская!

Варя. Как холодно, у меня руки заоченели. (Любови Андреевне.) Ваши комнаты, белая и фиолетовая, такими же и остались, мамочка.

Любовь Андреевна. Детская, милая моя, прекрасная комната... Я тут спала, когда

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
была маленькой... (Плачет.) И теперь я как маленькая... (Целует брата, Варю, потом опять брата.) А Варя по-прежнему все такая же, на монашку похожа. И Дуняшу я узнала... (Целует Дуняшу.)

Гаев. Поезд опоздал на два часа. Каково? Каковы порядки?

Шарлотта (Пищику). Моя собака и орехи кушает.

Пищик (удивленно). Вы подумайте!

Уходят все, кроме Ани и Дуняши.

Дуняша. Заждались мы... (Снимает с Ани пальто, шляпу.)

Аня. Я не спала в дороге четыре ночи... теперь озябла очень.

Дуняша. Вы уехали в Великом посту, тогда был снег, был мороз, а теперь? Милая моя! (Смеется, целует ее.) Заждалась вас, радость моя, светик... Я скажу вам сейчас, одной минутки не могу утерпеть...

Аня (вяло). Опять что-нибудь...

Дуняша. Конторщик Епиходов после Святой мне предложение сделал.

Аня. Ты все об одном... (Поправляя волосы.) Я растеряла все шпильки...

Она очень утомлена, даже пошатывается.

Дуняша. Уж я не знаю, что и думать. Он меня любит, так любит!

Аня (глядит в свою дверь, нежно). Моя комната, мои окна, как будто я не уезжала. Я дома! Завтра утром встану, побегу в сад... О, если бы я могла уснуть! Я не спала всю дорогу, томило меня беспокойство.

Дуняша. Третьего дня Петр Сергеич приехали.

Аня (радостно). Петя!

Дуняша. В бане спят, там и живут. Боюсь, говорят, стеснить. (Взглянув на свои карманные часы.) Надо бы их разбудить, да Варвара Михайловна не велела. Ты, говорит, его не буди.

Входит Варя, на поясе у нее вязка ключей.

Варя. Дуняша, кофе поскорей... Мамочка кофе просит.

Дуняша. Сию минуточку. (Уходит.)

Варя. Ну, слава Богу, приехали. Опять ты дома. (Ласкаясь.) Душечка моя приехала! Красавица приехала!

Аня. Натерпелась я.

Варя. Воображаю!

Аня. Выехала я на Страстной неделе, тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы. И зачем ты навязала мне Шарлотту...

Варя. Нельзя же тебе одной ехать, душечка. В семнадцать лет!

Аня. Приезжаем в Париж, там холодно, снег. По-французски говорю я ужасно. Мама живет на пятом этаже, прихожу к ней, у нее какие-то французы, дамы, старый патер

с книжкой, и накурено, неуютно. Мне вдруг стало жаль мамы, так жаль, я обняла ее голову, сжала руками и не могу выпустить. Мама потом все ласкалась, плакала...

Варя (сквозь слезы). Не говори, не говори...

Аня. Дачу свою около Ментоны она уже продала, у нее ничего не осталось, ничего. У меня тоже не осталось ни копейки, едва доехали. И мама не понимает!

Сядем на вокзале обедать, и она требует самое дорогое и на чай лакеям дает по рублю. Шарлотта тоже. Яша тоже требует себе порцию, просто ужасно. Ведь у мамы лакей Яша, мы привезли его сюда...

Варя. Видела подлеца.

Аня. Ну что, как? Заплатили проценты?

Варя. Где там.

Аня. Боже мой, Боже мой...

Варя. В августе будут продавать имение...

Аня. Боже мой...

Лопахин (заглядывает в дверь и мычит). Ме-е-е... (Уходит.)

Варя (сквозь слезы). Вот так бы и дала ему... (Грозит кулаком.)

Аня (обнимает Варю, тихо). Варя, он сделал предложение? (Варя отрицательно качает головой.) Ведь он же тебя любит... Отчего вы не объяснитесь, чего вы ждете?

Варя. Я так думаю, ничего у нас не выйдет. У него дела много, ему не до меня... и внимания не обращает. Бог с ним совсем, тяжело мне его видеть... Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют, а на самом деле ничего нет, все как сон... (Другим тоном.) У тебя брошка вроде как пчелка.

Аня (печально). Это мама купила. (Идет в свою комнату, говорит весело, по-детски.) А в Париже я на воздушном шаре летала!

Варя. Душечка моя приехала! Красавица приехала!

Дуняша уже вернулась с кофейником и варит кофе.

(Стоит около двери.) Хожу я, душечка, целый день по хозяйству и все мечтаю. Выдать бы тебя за богатого человека, и я бы тогда была покойной, пошла бы себе в пустынь, потом в Киев... в Москву, и так бы все ходила по святым местам... Ходила бы и ходила. Благолепие!..

Аня. Птицы поют в саду. Который теперь час?

Варя. Должно, третий. Тебе пора спать, душечка. (Входя в комнату к Ане.) Благолепие!

Входит Яша с пледом, дорожной сумочкой.

Яша (идет через сцену, деликатно). Тут можно пройти-с?

Дуняша. И не узнаешь вас, Яша. Какой вы стали за границей.

Яша. Гм... А вы кто?

Дуняша. Когда вы уезжали отсюда, я была этакой... (Показывает от пола.) Дуняша, Федора Козоедова дочь. Вы не помните!

Яша. Гм... Огурчик! (Оглядывается и обнимает ее; она вскрикивает и роняет блюдечко.)

Яша быстро уходит.

Варя (в дверях недовольным голосом). Что еще тут?

Дуняша (сквозь слезы). Блюдечко разбила...

Варя. Это к добру.

Аня (выйдя из своей комнаты). Надо бы маму предупредить: Петя здесь...

Варя. Я приказала его не будить.

Аня (задумчиво). Шесть лет тому назад умер отец, через месяц утонул в реке брат Гриша, хорошенький семилетний мальчик. Мама не перенесла, ушла, ушла без оглядки... (Вздрагивает.) Как я ее понимаю, если бы она знала!

Пауза.

А Петя Трофимов был учителем Гриши, он может напомнить...

Входит Фирс, он в пиджаке и белом жилете.

Фирс (идет к кофейнику, озабоченно). Барыня здесь будут кушать... (Надевает белые перчатки.) Готов кофий? (Строго, Дуняше.) Ты! А сливки?

Дуняша. Ах, Боже мой... (Быстро уходит.) Фирс (хлопчет около кофейника). Эх ты, недотепа... (Бормочет про себя.) Приехали из Парижа... И барин когда-то ездил в Париж... на лошадях... (Смеется.)

Варя. Фирс, ты о чем?

Фирс. Чего изволите? (Радостно.) Барыня моя приехала! Дождался! Теперь хоть и помереть... (Плачет от радости.)

Входят Любовь Андреевна, Гаев, Лопахин Симеонов-Пищик; Симеонов-Пищик в поддевке из тонкого сукна и шароварах. Гаев, входя, руками и туловищем делает движения, как будто играет на бильярде.

Любовь Андреевна. Как это? Дай-ка вспомнить... Желтого в угол[42]! Дуплет в середину!

Гаев. Режу в угол! Когда-то мы с тобой, сестра, спали вот в этой самой комнате, а теперь мне уже пятьдесят один год, как это ни странно...

Лопахин. Да, время идет.

Гаев. Кого?

Лопахин. Время, говорю, идет.

Гаев. А здесь пачулями[43] пахнет.

Аня. Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. (Целует мать.)

Любовь Андреевна. Ненаглядная дитюся моя. (Целует ей руки.) Ты рада, что ты дома? Я никак в себя не приду.

Аня. Прощай, дядя.

Гаев (целует ей лицо, руки). Господь с тобой. Как ты похожа на свою мать! (Сестре.) Ты, Люба, в ее годы была точно такая.

Аня подает руку Лопяхину и Пищику, уходит и затворяет за собой дверь.

Любовь Андреевна. Она утомилась очень.

Пищик. Дорога небось длинная.

Варя (Лопяхину и Пищику). Что ж, господа? Третий час, пора и честь знать.

Любовь Андреевна (смеется). Ты все такая же, Варя. (Привлекает ее к себе и целует.) Вот выпью кофе, тогда все уйдем.

Фирс кладет ей под ноги подушечку.

Спасибо, родной. Я привыкла к кофе. Пью его и днем и ночью. Спасибо, мой старичок. (Целует Фирса.)

Варя. Поглядеть, все ли вещи привезли... (Уходит.)

Любовь Андреевна. Неужели это я сию? (Смеется.) Мне хочется прыгать, размахивать руками. (Закрывает лицо руками.) А вдруг я сплю! Видит Бог, я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала. (Сквозь слезы.) Однако же надо пить кофе. Спасибо тебе, Фирс, спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты еще жив.

Фирс. Позавчера.

Гаев. Он плохо слышит.

Лопяхин. Мне сейчас, в пятом часу утра, в Харьков ехать. Такая досада! Хотелось поглядеть на вас, поговорить... Вы все такая же великолепная.

Пищик (тяжело дышит). Даже похорошела... Одета по-парижскому... пропадай моя телега, все четыре колеса...

Лопяхин. Ваш брат, вот Леонид Андреич, говорит про меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно. Пускай говорит. Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный! Мой отец был крепостным у вашего деда и отца, но вы, собственно вы, сделали для меня когда-то так много, что я забыл все и люблю вас, как родную... больше, чем родную.

Любовь Андреевна. Я не могу усидеть, не в состоянии... (Вскакивает и ходит в сильном волнении.) Я не переживу этой радости... Смейтесь надо мной, я глупая... Шкафик мой родной... (Целует шкаф.) Столик мой.

Гаев. А без тебя тут няня умерла.

Любовь Андреевна (садится и пьет кофе). Да, Царство Небесное. Мне писали.

Гаев. И Анастасий умер. Петрушка Косой от меня ушел и теперь в городе у пристава живет. (Вынимает из кармана коробку с леденцами, сосет.)

Пищик. Дочка моя, Дашенька... вам кланяется...

Лопяхин. Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. (Взглянув на часы.) Сейчас уеду, некогда разговаривать... ну, да я в двух-трех словах. Вам уже известно, вишневый сад ваш продается за долги, на двадцать второе августа назначены торги, но вы не беспокойтесь, моя дорогая, спите себе спокойно, выход есть... Вот мой проект. Прошу внимания! Ваше имение находится только в двадцати

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

верстах от города, возле прошла железная дорога, и если вишневый сад и землю по реке разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое двадцать пять тысяч в год дохода.

Гаев. Извините, какая чепуха!

Любовь Андреевна. Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеич.

Лопухин. Вы будете брать с дачников самое малое по двадцать пять рублей в год за десятину, и если теперь же объявите, то, я ручаюсь чем угодно, у вас до осени не останется ни одного свободного клочка, все разберут. Одним словом, поздравляю, вы спасены. Местоположение чудесное, река глубокая. Только, конечно, нужно поубрать, почистить... например, скажем, снести все старые постройки, вот этот дом, который уже никуда не годится, вырубить старый вишневый сад...

Любовь Андреевна. Вырубить? Милый мой, простите, вы ничего не понимаете. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш вишневый сад.

Лопухин. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родится раз в два года, да и ту девать некуда, никто не покупает.

Гаев. И в «Энциклопедическом словаре» упоминается про этот сад.

Лопухин (взглянув на часы). Если ничего не придумаем и ни к чему не придем, то двадцать второго августа и вишневый сад и все имение будут продавать с аукциона. Решайтесь же! Другого выхода нет, клянусь вам. Нет и нет.

Фирс. В прежнее время, лет сорок – пятьдесят назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили, и, бывало...

Гаев. Помолчи, Фирс.

Фирс. И, бывало, сушеную вишню возами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было! И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая... Способ тогда знали...

Любовь Андреевна. А где же теперь этот способ?

Фирс. Забыли. Никто не помнит.

Пищик (Любови Андреевне). Что в Париже? Как? Ели лягушек?

Любовь Андреевна. Крокодилов ела.

Пищик. Вы подумайте...

Лопухин. До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще дачники. Все города, даже самые небольшие, окружены теперь дачами. И можно сказать, дачник лет через двадцать размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться, что на своей одной десятине он займется хозяйством, и тогда ваш вишневый сад станет счастливым, богатым, роскошным...

Гаев (возмущаясь). Какая чепуха!

Входят Варя и Яша.

Варя. Тут, мамочка, вам две телеграммы. (Выбирает ключ и со звоном отпирает старинный шкаф.) Вот они.

Любовь Андреевна. Это из Парижа. (Рвет телеграммы, не прочитав.) С Парижем кончено...

Гаев. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкапу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкап сделан ровно сто лет тому назад. Каково?



А можно было бы юбилей отпраздновать. Предмет неодоушевленный, а все-таки как-никак книжный шкаф.

Пищик (удивленно). Сто лет... Вы подумайте!..

Гаев. Да... Это вещь... (Ощупав шкаф.) Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания.

Пауза.

Лопехин. Да...

Любовь Андреевна. Ты все такой же, Леня.

Гаев (немного сконфуженный). От шара направо в угол! Режу в среднюю!

Лопехин (поглядев на часы). Ну, мне пора.

Яша (подает Любви Андреевне лекарства). Может, примете сейчас пилюли...

Пищик. Не надо принимать медикаменты, милейшая... от них ни вреда, ни пользы... Дайте-ка сюда... многоуважаемая. (Берет пилюли, высыпает их себе на ладонь, дует на них, кладет в рот и запивает квасом.) Вот!

Любовь Андреевна (испуганно). Да вы с ума сошли!

Пищик. Все пилюли принял.

Лопехин. Экая прорва.

Все смеются.

Фирс. Они были у нас на Святой, полведра огурцов скушали... (Бормочет.)

Любовь Андреевна. О чем это он?

Варя. Уж три года так бормочет. Мы привыкли.

Яша. Преклонный возраст.

Шарлотта Ивановна, в белом платье, очень худая, стянутая, с лорнеткой на поясе, проходит через сцену.

Лопехин. Простите, Шарлотта Ивановна, я не успел еще поздороваться с вами. (Хочет поцеловать у нее руку.)

Шарлотта (отнимая руку). Если позволить вам поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть, потом в плечо...

Лопехин. Не везет мне сегодня.

Все смеются.

Шарлотта Ивановна, покажите фокус!

Любовь Андреевна. Шарлотта, покажите фокус!

Шарлотта. Не надо. Я спать желаю. (Уходит.)

Лопухин. Через три недели увидимся. (Целует Любви Андреевне руку.) Пока прощайте. Пора. (Гаеву.) До свиданья. (Целует с Пищиком.) До свиданья. (Подает руку Варю, потом Фирсу и Яше.) Не хочется уезжать. (Любви Андреевне.) Ежели надумаете насчет дач и решите, тогда дайте знать, я займы тысяч пятьдесят достану. Серьезно подумайте.

Варя (сердито). Да уходите же, наконец!

Лопухин. Ухожу, ухожу... (Уходит.)

Гаев. Хам. Впрочем, пардон... Варя выходит за него замуж, это Варин женишок.

Варя. Не говорите, дядечка, лишнего.

Любовь Андреевна. Что ж, Варя, я буду очень рада. Он хороший человек.

Пищик. Человек, надо правду говорить... достойнейший... И моя Дашенька... тоже говорит, что... разные слова говорит. (Храпит, но тотчас же просыпается.) А все-таки, многоуважаемая, одолжите мне... займы двести сорок рублей... завтра по закладной проценты платить...

Варя (испуганно). Нету, нету!

Любовь Андреевна. У меня в самом деле нет ничего.

Пищик. Найдутся. (Смеется.) Не теряю никогда надежды. Вот, думаю, уж все пропало, погиб, ан, глядь, – железная дорога по моей земле прошла, и... мне заплатили. А там, гляди, еще что-нибудь случится не сегодня-завтра... Двести тысяч выиграл Дашенька... у нее билет есть.

Любовь Андреевна. Кофе выпит, можно на покой.

Фирс (чистит щеткой Гаева, наставительно). Опять не те брючки надели. И что мне с вами делать!

Варя (тихо). Аня спит. (Тихо отворяет окно.) Уже взошло солнце, не холодно. Взгляните, мамочка: какие чудесные деревья! Боже мой, воздух! Скворцы поют!

Гаев (отворяет другое окно). Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо, прямо, точно протянутый ремень, она блестит в лунные ночи. Ты помнишь? Не забыла?

Любовь Андреевна (глядит в окно на сад). О мое детство, чистота моя! В этой детской я спала, глядела отсюда на сад, счастье просыпалось вместе со мною каждое утро, и тогда он был точно таким, ничто не изменилось. (Смеется от радости.) Весь, весь белый! О сад мой! После темной ненастной осени и холодной зимы опять ты молод, полон счастья, ангелы небесные не покинули тебя... Если бы снять с груди и с плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое!

Гаев. Да, и сад продадут за долги, как это ни странно...

Любовь Андреевна. Посмотрите, покойная мама идет по саду... в белом платье! (Смеется от радости.) Это она.

Гаев. Где?

Варя. Господь с вами, мамочка.

Любовь Андреевна. Никого нет, мне показалось. Направо, на повороте к беседке, белое деревцо склонилось, похоже на женщину...

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
Входит Трофимов в поношенном студенческом мундире, в очках.

Какой изумительный сад! Белые массы цветов, голубое небо...

Трофимов. Любовь Андреевна!

Она оглянулась на него.

Я только поклонюсь вам и тотчас же уйду. (Горячо целует руку.) Мне приказано было ждать до утра, но у меня не хватило терпения...

Любовь Андреевна смотрит с недоумением.

Варя (сквозь слезы). Это Петя Трофимов...

Трофимов. Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши... Неужели я так изменился?

Любовь Андреевна обнимает его и тихо плачет.

Гаев (смущенно). Полно, полно, Люба.

Варя (плачет). Говорила ведь, Петя, чтобы погодили до завтра.

Любовь Андреевна. Гриша мой... мой мальчик... Гриша... сын...

Варя. Что же делать, мамочка. Воля Божья.

Трофимов (мягко, сквозь слезы). Будет, будет...

Любовь Андреевна (тихо плачет). Мальчик погиб, утонул... Для чего? Для чего, мой друг? (Тише.) Там Аня спит, а я громко говорю... поднимаю шум... Что же, Петя? Отчего вы так подурнели? Отчего постарели?

Трофимов. Меня в вагоне одна баба назвала так: облезлый барин.

Любовь Андреевна. Вы были тогда совсем мальчиком, милым студентиком, а теперь волосы негустые, очки. Неужели вы все еще студент? (Идет к двери.)

Трофимов. Должно быть, я буду вечным студентом.

Любовь Андреевна (целует брата, потом Варю). Ну, идите спать... Постарел и ты, Леонид.

Пищик (идет за ней). Значит, теперь спать... Ох, подагра моя. Я у вас останусь... Мне бы, Любовь Андреевна, душа моя, завтра утречком... двести сорок рублей...

Гаев. А этот все свое.

Пищик. Двести сорок рублей... проценты по закладной платить.

Любовь Андреевна. Нет у меня денег, голубчик.

Пищик. Отдам, милая... Сумма пустяшная...

Любовь Андреевна. Ну, хорошо, Леонид даст... Ты дай, Леонид.

Гаев. Дам я ему, держи карман.

Любовь Андреевна. Что же делать, дай... Ему нужно... Он отдаст.

Любовь Андреевна, Трофимов, Пищик и Фирс уходят. Остаются Гаев, Варя и Яша.

Гаев. Сестра не отвыкла еще сорить деньгами. (Яше.) Отойди, любезный, от тебя курицей пахнет.

Яша (с усмешкой). А вы, Леонид Андреич, все такой же, как были.

Гаев. Кого? (Варе.) Что он сказал?

Варя (Яше). Твоя мать пришла из деревни, со вчерашнего дня сидит в людской, хочет повидаться...

Яша. Бог с ней совсем!

Варя. Ах, бесстыдник!

Яша. Очень нужно. Могла бы и завтра прийти. (Уходит.)

Варя. Мамочка такая же, как была, нисколько не изменилась. Если бы ей волю, она бы все раздала.

Гаев. Да...

Пауза.

Если против какой-нибудь болезни предлагается очень много средств, то это значит, что болезнь неизлечима. Я думаю, напрягаю мозги, у меня много средств, очень много и, значит, в сущности, ни одного. Хорошо бы получить от кого-нибудь наследство, хорошо бы выдать нашу Аню за очень богатого человека, хорошо бы поехать в Ярославль и попытать счастья у тетушки-графини. Тетка ведь очень, очень богата.

Варя (плачет). Если бы Бог помог.

Гаев. Не реви. Тетка очень богата, но нас она не любит. Сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного[44], не дворянина...

Аня показывается в дверях.

Вышла за недворянина и вела себя нельзя сказать чтобы очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славная, я ее очень люблю, но, как там ни придумывай смягчающие обстоятельства, все же, надо сознаться, она порочна. Это чувствуется в ее малейшем движении.

Варя (шепотом). Аня стоит в дверях.

Гаев. Кого?

Пауза.

Удивительно, мне что-то в правый глаз попало... плохо стал видеть. И в четверг, когда я был в окружном суде...

Входит Аня.

Варя. Что же ты не спишь, Аня?

Аня. Не спится. Не могу.

Гаев. Крошка моя. (Целует Ане лицо, руки.) Дитя мое... (Сквозь слезы.) Ты не племянница, ты мой ангел, ты для меня все. Верь мне, верь...

Аня. Я верю тебе, дядя. Тебя все любят, уважают... но, милый дядя, тебе надо молчать, только молчать. Что ты говорил только что про мою маму, про свою сестру? Для чего ты это говорил?

Гаев. Да, да... (Ее рукой закрывает себе лицо.) В самом деле, это ужасно! Боже мой! Боже, спаси меня! И сегодня я речь говорил перед шкапом... так глупо! И только когда кончил, понял, что глупо.

Варя. Правда, дядечка, вам надо бы молчать. Молчите себе, и все.

Аня. Если будешь молчать, то тебе же самому будет покойнее.

Гаев. Молчу. (Целует Ане и Варю руки.) Молчу. Только вот о деле. В четверг я был в окружном суде, ну, сошлась компания, начался разговор о том о сем, пятое-десятое, и, кажется, вот можно будет устроить заем под векселя[45], чтобы заплатить проценты в банк.

Варя. Если бы Господь помог!

Гаев. Во вторник поеду, еще раз поговорю. (Варю.) Не реви. (Ане.) Твоя мама поговорит с Лопахиным; он, конечно, ей не откажет... А ты, как отдохнешь, поедешь в Ярославль к графине, твоей бабушке. Вот так и будем действовать с трех концов – и дело наше в шляпе. Проценты мы заплатим, я убежден... (Кладет в рот леденец.) Честью моей, чем хочешь клянусь, имение не будет продано! (Возбужденно.) Счастьем моим клянусь! Вот тебе моя рука, назови меня тогда дрянным, бесчестным человеком, если я допущу до аукциона! Всем существом моим клянусь!

Аня (спокойное настроение вернулось к ней, она счастлива). Какой ты хороший, дядя, какой умный! (Обнимает дядю.) Я теперь покойна! Я покойна! Я счастлива!

Входит Фирс.

Фирс (укоризненно). Леонид Андреич, Бога вы не боитесь! Когда же спать?

Гаев. Сейчас, сейчас. Ты уходи, Фирс. Я уж, так и быть, сам разденусь. Ну, детки, бай-бай... Подробности завтра, а теперь идите спать. (Целует Аню и Варю.) Я человек восьмидесяти годов... Не хвалят это время, но все же могу сказать, за убеждения мне доставалось немало в жизни. Недаром меня мужик любит. Мужика надо знать! Надо знать, с какой...

Аня. Опять ты, дядя!

Варя. Вы, дядечка, молчите.

Фирс (сердито). Леонид Андреич!

Гаев. Иду, иду... Ложитесь. От двух бортов в середину! Кладу чистого... (Уходит, за ним семенит Фирс.)

Аня. Я теперь покойна. В Ярославль ехать не хочется, я не люблю бабушку, но все же я покойна. Спасибо дяде. (Садится.)

Варя. Надо спать. Пойду. А тут без тебя было неудовольствие. В старой людской, как тебе известно, живут одни старые слуги: Ефимьюшка, Поля, Евстигней, ну и Карп. Стали они пускать к себе ночевать каких-то проходимцев – я промолчала. Только вот, слышу, распустили слух, будто я велела кормить их одним только горохом. От скупости, видишь ли... И это все Евстигней... Хорошо, думаю. Коли так, думаю, то погоди же. Зову я Евстигнея... (Зевает.) Приходит... Как же ты, говорю, Евстигней... дурак ты этакой... (Поглядев на Аню.) Анечка!..

Пауза.

Заснула!.. (Берет Аню под руку.) Пойдем в постельку... Пойдем!.. (Ведет ее.)  
Душечка моя уснула! Пойдем...

Идут. Далеко за садом пастух играет на свирели.

Трофимов идет через сцену и, увидев Варю и Аню, останавливается.

Варя. Тсс... она спит... спит... Пойдем, родная.

Аня (тихо, в полусне). Я так устала... все колокольчики... Дядя... милый... и мама и дядя...

Варя. Пойдем, родная, пойдем... (Уходит в комнату Ани.)

Трофимов (в умилении). Солнышко мое! Весна моя!

Занавес

Действие второе

Поле. Старая, покривившаяся, давно заброшенная часовенка, возле нее колодец, большие камни, когда-то бывшие, по-видимому, могильными плитами, и старая скамья. Видна дорога в усадьбу Гаева. В стороне, возвышаясь, темнеют тополи: там начинается вишневый сад. Вдали ряд телеграфных столбов, и далеко-далеко на горизонте неясно обозначается большой город, который бывает виден только в очень хорошую, ясную погоду. Скоро сядет солнце. Шарлотта, Яша и Дуняша сидят на скамье; Епиходов стоит возле и играет на гитаре; все сидят задумавшись. Шарлотта в старой фуражке; она сняла с плеч ружье и поправляет пряжку на ремне.

Шарлотта (в раздумье). У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что я молоденькая. Когда я была маленькой девочкой, то мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления, очень хорошие. А я прыгала salto-mortale и разные штучки. И когда папаша и мамаша умерли, меня взяла к себе одна немецкая госпожа и стала меня учить. Хорошо. Я выросла, потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я – не знаю... Кто мои родители, может, они не венчались... не знаю. (Достает из кармана огурец и ест.) Ничего не знаю.

Пауза.

Так хочется поговорить, а не с кем... Никого у меня нет.

Епиходов (играет на гитаре и поет). «Что мне до шумного света, что мне друзья и враги...» Как приятно играть на мандолине!

Дуняша. Это гитара, а не мандолина. (Глядится в зеркальце и пудрится.)

Епиходов. Для безумца, который влюблен, это мандолина... (Напевает.) «Было бы сердце согрето жаром взаимной любви...»

Яша подпевает.

Шарлотта. Ужасно поют эти люди... фуй! Как шакалы.

Дуняша (Яше). Все-таки какое счастье побывать за границей.

Яша. Да, конечно. Не могу с вами не согласиться. (Зевает, потом закуривает сигару.)

Епиходов. Понятное дело. За границей все давно уж в полной комплектции.

Яша. Само собой!

Епиходов. Я развитой человек, читаю разные замечательные книги, но никак не могу понять направления, чего мне, собственно, хочется, жить мне или застрелиться, собственно говоря, но тем не менее я всегда ношу при себе револьвер. Вот он... (Показывает револьвер.)

Шарлотта. Кончила. Теперь пойду. (Надевает ружье.) Ты, Епиходов, очень умный человек и очень страшный; тебя должны безумно любить женщины. Бррр! (Идет.) Эти умники все такие глупые, не с кем мне поговорить... Все одна, одна, никого у меня нет и... и кто я, зачем я, неизвестно... (Уходит не спеша.)

Епиходов. Собственно говоря, не касаясь других предметов, я должен выразиться о себе, между прочим, что судьба относится ко мне без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, к примеру сказать, гляжу, а у меня на груди страшной величины паук... Вот такой. (Показывает обеими руками.) И тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, а там, глядишь, что-нибудь в высшей степени неприличное, вроде таракана.

Пауза.

Вы читали Бокля?

Пауза.

Я желаю побеспокоить вас, Авдотья Федоровна, на пару слов.

Дуняша. Говорите.

Епиходов. Мне бы желательно с вами наедине... (Вздыхает.)

Дуняша (смущенно). Хорошо... только сначала принесите мне мою тальмочку... Она около шкапа... тут немножко сыро...

Епиходов. Хорошо-с... принесу-с... Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером... (Берет гитару и уходит наигрывая.)

Яша. Двадцать два несчастья! Глупый человек, между нами говоря. (Зевает.)

Дуняша. Не дай Бог, застрелится.

Пауза.

Я стала тревожная. Все беспокоюсь. Меня еще девочкой взяли к господам, я теперь отвыкла от простой жизни, и вот руки белые-белые, как у барышни. Нежная стала, такая деликатная, благородная, всего боюсь... Страшно так. И если вы, Яша, обманете меня, то я не знаю, что будет с моими нервами.

Яша (целует ее). Огурчик! Конечно, каждая девушка должна себя помнить, и я больше всего не люблю, ежели девушка дурного поведения.

Дуняша. Я страстно полюбила вас, вы образованный, можете обо всем рассуждать.

Пауза.

Яша (зевает). Да-с... По-моему, так: ежели девушка кого любит, то она, значит, безнравственная.

Пауза.

Приятно выкурить сигару на чистом воздухе... (Прислушивается.) Сюда идут... Это господа...

Дуняша порывисто обнимает его.

Идите домой, будто ходили на реку купаться, идите этой дорожкой, а то встретятся и подумают про меня, будто я с вами на свидании. Терпеть этого не могу.

Дуняша (тихо кашляет). У меня от сигары голова разболелась... (Уходит.)

Яша остается, сидит возле часовни. Входят Любовь Андреевна, Гаев и Лопахин.

Лопахин. Надо окончательно решить – время не ждет. Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы отдать землю под дачи или нет? Ответьте одно слово: да или нет? Только одно слово!

Любовь Андреевна. Кто это здесь курит отвратительные сигары... (Садится.)

Гаев. Вот железную дорогу построили, и стало удобно. (Садится.) Съездили в город и позавтракали... желтого в середину! Мне бы сначала пойти в дом, сыграть одну партию...

Любовь Андреевна. Успеешь.

Лопахин. Только одно слово! (Умоляюще.) Дайте же мне ответ!

Гаев (зевая). Кого?

Любовь Андреевна (глядит в свое портмоне). Вчера было много денег, а сегодня совсем мало. Бедная моя Варя из экономии кормит всех молочным супом, на кухне старикам дают один горох, а я трачу как-то бессмысленно... (Уронила портмоне, рассыпала золотые.) Ну, посыпались... (Ей досадно.)

Яша. Позвольте, я сейчас подберу. (Собирает монеты.)

Любовь Андреевна. Будьте добры, Яша. И зачем я поехала завтракать... Дрянной ваш ресторан с музыкой, скатерти пахнут мылом... Зачем так много пить, Леня? Зачем так много есть? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане ты говорил опять много и все некстати. О семидесятих годах, о декадентах. И кому? Половым говорить о декадентах!

Лопахин. Да.

Гаев (машет рукой). Я не исправим, это очевидно... (Раздраженно, Яше.) Что такое, постоянно вертишься перед глазами...

Яша (смеется). Я не могу без смеха вашего голоса слышать.

Гаев (сестре). Или я, или он...

Любовь Андреевна. Уходите, Яша, ступайте...

Яша (отдает Любови Андреевне кошелек). Сейчас уйду. (Едва удерживается от смеха.) Сию минуту... (Уходит.)

Лопахин. Ваше имение собирается купить богач Дериганов. На торги, говорят, приедет сам лично.

Любовь Андреевна. А вы откуда слышали?



Лопехин. В городе говорят.

Гаев. Ярославская тетухка обещала прислать, а когда и сколько придет, неизвестно..

Лопехин. Сколько она придет? Тысяч сто? Двести?

Любовь Андреевна. Ну... Тысяч десять – пятнадцать, и на том спасибо.

Лопехин. Простите, таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал. Вам говорят русским языком, имение ваше продается, а вы точно не понимаете.

Любовь Андреевна. Что же нам делать? Научите – что?

Лопехин. Я вас каждый день учу. Каждый день я говорю все одно и то же. И вишневый сад и землю необходимо отдать в аренду под дачи, сделать это теперь же, поскорее, – аукцион на носу! Поймите! Раз окончательно решите, чтобы были дачи, так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены.

Любовь Андреевна. Дачи и дачники – это так пошло, простите.

Гаев. Совершенно с тобой согласен.

Лопехин. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Не могу! Вы меня замучили! (Гаеву.) Баба вы!

Гаев. Кого?

Лопехин. Баба! (Хочет уйти.)

Любовь Андреевна (испуганно). Нет, не уходите, останьтесь, голубчик. Прошу вас. Может быть, надумаем что-нибудь!

Лопехин. О чем тут думать!

Любовь Андреевна. Не уходите, прошу вас. С вами все-таки веселее..

Пауза.

Я все жду чего-то, как будто над нами должен обвалиться дом.

Гаев (в глубоком раздумье). Дуплет в угол... Круазе в середину...

Любовь Андреевна. Уж очень много мы грешили...

Лопехин. Какие у вас грехи...

Гаев (кладет в рот леденец). Говорят, что я все свое состояние проел на леденцах... (Смеется.)

Любовь Андреевна. О, мои грехи... Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая, и вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Муж мой умер от шампанского, – он страшно пил, – и, на несчастье, я полюбила другого, сошлась, и как раз в это время, – это было первое наказание, удар прямо в голову, – вот тут на реке... утонул мой мальчик, и я уехала за границу, совсем уехала, чтобы никогда не возвращаться, не видеть этой реки... Я закрыла глаза, бежала, себя не помня, а он за мной... безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментоны, так как он заболел там, и три года я не знала отдыха ни днем, ни ночью; больной измучил меня, душа моя высохла. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж, и там он обобрал меня, бросил, сошелся с другой, я пробовала отравиться... Так глупо, так стыдно... И потянуло вдруг в Россию, на родину, к девочке моей... (Утирает слезы.) Господи, Господи, будь милостив, прости мне грехи мои! Не наказывай меня больше! (Достает из кармана телеграмму.) Получила сегодня из Парижа... Просит прощения, умоляет вернуться... (Вет

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
телеграмму.) Словно где-то музыка. (Прислушивается.)

Гаев. Это наш знаменитый еврейский оркестр. Помнишь, четыре скрипки, флейта и контрабас.

Любовь Андреевна. Он еще существует? Его бы к нам зазвать как-нибудь, устроить вечерок.

Лопехин (прислушивается). Не слышать... (Тихо напевает.) «И за деньги русака немцы офранцузят». (Смеется.) Какую я вчера пьесу смотрел в театре, очень смешно.

Любовь Андреевна. И наверное, ничего нет смешного. Вам не пьесы смотреть, а смотреть бы почаще на самих себя. Как вы все серо живете, как много говорите ненужного.

Лопехин. Это правда. Надо прямо говорить, жизнь у нас дурацкая...

Пауза.

Мой папаша был мужик, идиот, ничего не понимал, меня не учил, а только бил спьяна, и все палкой. В сущности, и я такой же болван и идиот. Ничему не обучался, почерк у меня скверный, пишу я так, что от людей совестно, как свинья.

Любовь Андреевна. Жениться вам нужно, мой друг.

Лопехин. Да... Это правда.

Любовь Андреевна. На нашей бы Варе. Она хорошая девушка.

Лопехин. Да.

Любовь Андреевна. Она у меня из простых, работает целый день, а главное, вас любит. Да и вам-то давно нравится.

Лопехин. Что же? Я не прочь... Она хорошая девушка.

Пауза.

Гаев. Мне предлагают место в банке. Шесть тысяч в год... Слыхала?

Любовь Андреевна. Где тебе! Сиди уж...

Фирс входит; он принес пальто.

Фирс (Гаеву.) Извольте, сударь, надеть, а то сыро.

Гаев (надевает пальто). Надоел ты, брат.

Фирс. Нечего там... Утром уехали, не сказавшись. (Оглядывает его.)

Любовь Андреевна. Как ты постарел, Фирс!

Фирс. Чего изволите?

Лопехин. Говорят, ты постарел очень!

Фирс. Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папаша еще на свете не было... (Смеется.) А воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю, остался при господах...

Пауза.

И помню, все рады, а чему рады, и сами не знают.

Лопехин. Прежде очень хорошо было. По крайней мере драли.

Фирс (не расслышав). А еще бы. Мужики при господах, господа при мужиках, а теперь все враздробь, не поймешь ничего.

Гаев. Помолчи, Фирс. Завтра мне нужно в город. Обещали познакомиться с одним генералом, который может дать под вексель.

Лопехин. Ничего у вас не выйдет. И не заплатите вы процентов, будьте покойны.

Любовь Андреевна. Это он бредит. Никаких генералов нет.

Входят Трофимов, Аня и Варя.

Гаев. А вот и наши идут.

Аня. Мама сидит.

Любовь Андреевна (нежно). Иди, иди... Родные мои... (Обнимая Аню и Варю.) Если бы вы обе знали, как я вас люблю. Садитесь рядом, вот так.

Все усаживаются.

Лопехин. Наш вечный студент все с барышнями ходит.

Трофимов. Не ваше дело.

Лопехин. Ему пятьдесят лет скоро, а он все еще студент.

Трофимов. Оставьте ваши дурацкие шутки.

Лопехин. Что же ты, чудак, сердисься?

Трофимов. А ты не приставай.

Лопехин (смеется). Позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете?

Трофимов. Я, Ермолай Алексеич, так понимаю: вы богатый человек, будете скоро миллионером. Вот как в смысле обмена веществ нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути, так и ты нужен.

Все смеются.

Варя. Вы, Петя, расскажите лучше о планетах.

Любовь Андреевна. Нет, давайте продолжим вчерашний разговор.

Трофимов. О чем это?

Гаев. О гордом человеке.

Трофимов. Мы вчера говорили долго, но ни к чему не пришли. В гордом человеке[46], в вашем смысле, есть что-то мистическое. Быть может, вы и правы по-своему, но если рассуждать попросту, без затей, то какая там гордость, есть ли в ней смысл, если человек физиологически устроен неважно, если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив. Надо перестать восхищаться собой. Надо бы только работать.

Гаев. Все равно умрешь.

Трофимов. Кто знает? И что значит – умрешь? Быть может, у человека сто чувств и со смертью погибают только пять, известных нам, а остальные девяносто пять остаются живы.

Любовь Андреевна. Какой вы умный, Петя!..

Лопехин (иронически). Страсть!

Трофимов. Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. Все, что недостижимо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным, только вот надо работать, помогать всеми силами тем, кто ищет истину. У нас, в России, работают пока очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, какую я знаю, ничего не ищет, ничего не делает и к труду пока не способно. Называют себя интеллигенцией, а прислуге говорят «ты», с мужиками обращаются, как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, ровно ничего не делают, о науках только говорят, в искусстве понимают мало. Все серьезные, у всех строгие лица, все говорят только о важном, философствуют, а между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно, спят без подушек, по тридцати, по сорока в одной комнате, везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота... И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто, где читальни? О них только в романах пишут, на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина... Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий, боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчим!

Лопехин. Знаете, я встаю в пятом часу утра, работаю с утра до вечера, ну, у меня постоянно деньги свои и чужие, и я вижу, какие кругом люди. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю: «Господи, ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты, и, живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами...»

Любовь Андреевна. Вам понадобились великаны... Они только в сказках хороши, а так они пугают.

В глубине сцены проходит Епиходов и играет на гитаре.

(Задумчиво.) Епиходов идет...

Аня (задумчиво). Епиходов идет...

Гаев. Солнце село, господа.

Трофимов. Да.

Гаев (негромко, как бы декламируя). О природа, дивная, ты блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная, ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть, ты живишь и разрушаешь...

Варя (умоляюще). Дядечка!

Аня. Дядя, ты опять!

Трофимов. Вы лучше желтого в середину дуплетом.

Гаев. Я молчу, молчу.

Все сидят, задумались. Тишина. Слышно только, как тихо бормочет Фирс. Вдруг раздается отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный.

Любовь Андреевна. Это что?

Лопухин. Не знаю. Где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Но где-нибудь очень далеко.

Гаев. А может быть, птица какая-нибудь... вроде цапли.

Трофимов. Или филин...

Любовь Андреевна (вздрагивает). Неприятно почему-то.

Пауза.

Фирс. Перед несчастьем то же было: и сова кричала, и самовар гудел бесперечь.

Гаев. Перед каким несчастьем?

Фирс. Перед волей.

Пауза.

Любовь Андреевна. Знаете, друзья, пойдемте, уже вечереет. (Ане.) У тебя на глазах слезы... Что ты, девочка? (Обнимает ее.)

Аня. Это так, мама. Ничего.

Трофимов. Кто-то идет.

Показывается Прохожий в белой потасканной фуражке, в пальто; он слегка пьян.

Прохожий. Позвольте вас спросить, могу ли я пройти здесь прямо на станцию?

Гаев. Можете. Идите по этой дороге.

Прохожий. Чувствительно вам благодарен. (Кашлянув.) Погода превосходная... (Декламирует.) Брат мой, страдающий брат...[47] выдь на Волгу, чей стон...[48] (Варе.) Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек тридцать...

Варя испугалась, вскрикивает.

Лопухин (сердито). Всякому безобразию есть свое приличие!

Любовь Андреевна (оторопев). Возьмите... вот вам... (Ищет в портмоне.) Серебра нет... Все равно, вот вам золотой...

Прохожий. Чувствительно вам благодарен! (Уходит.)

Смех.

Варя (испуганная). Я уйду... я уйду... Ах, мамочка, дома людям есть нечего, а вы ему отдали золотой.

Любовь Андреевна. Что ж со мной, глупой, делать! Я тебе дома отдам все, что у меня есть. Ермолай Алексеич, дадите мне еще взаймы!..

Лопухин. Слушаю.

Любовь Андреевна. Пойдемте, господа, пора. А тут, Варя, мы тебя совсем просватали, поздравляю.

Варя (сквозь слезы). Этим, мама, шутить нельзя.

Лопехин. Охмелия, иди в монастырь...

Гаев. А у меня дрожат руки: давно не играл на бильярде.

Лопехин. Охмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах!

Любовь Андреевна. Идемте, господа. Скоро ужинать.

Варя. Напугал он меня. Сердце так и стучит.

Лопехин. Напоминаю вам, господа: двадцать второго августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом!.. Думайте!..

Уходят все, кроме Трофимова и Ани.

Аня (смеясь). Спасибо прохожему, напугал Варю, теперь мы одни.

Трофимов. Варя боится, а вдруг мы полюбим друг друга, и целые дни не отходит от нас. Она своей узкой головой не может понять, что мы выше любви. Обойти то мелкое и призрачное, что мешает быть свободным и счастливым, вот цель и смысл нашей жизни. Вперед! Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там вдали! Вперед! Не отставай, друзья!

Аня (всплескивая руками). Как хорошо вы говорите!

Пауза.

Сегодня здесь дивно!

Трофимов. Да, погода удивительная.

Аня. Что вы со мной сделали, Петя, отчего я уже не люблю вишневого сада, как прежде. Я любила его так нежно, мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад.

Трофимов. Вся Россия наш сад. Земля велика и прекрасна, есть на ней много чудесных мест.

Пауза.

Подумайте, Аня: ваш дед, прадед и все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами, и неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа, неужели вы не слышите голосов... Владеть живыми душами – ведь это переродило всех вас, живших раньше и теперь живущих, так что ваша мать, вы, дядя уже не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых вы не пускаете дальше передней... Мы отстали по крайней мере лет на двести, у нас нет еще ровно ничего, нет определенного отношения к прошлому, мы только философствуем, жалуемся на тоску или пьем водку. Ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним, а искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это, Аня.

Аня. Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом, и я уйду, даю вам слово.

Трофимов. Если у вас есть ключи от хозяйства, то бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны как ветер.

Аня (в восторге). Как хорошо вы сказали!

Трофимов. Верьте мне, Аня, верьте! Мне еще нет тридцати, я молод, я еще студент, но я уже столько вынес! Как зима, так я голоден, болен, встревожен, беден, как нищий, и – куда только судьба не гоняла меня, где я только не был! И все же душа моя всегда, во всякую минуту, и днем и ночью, была полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня, я уже вижу его...

Аня (задумчиво). Восходит луна.

Слышно, как Епиходов играет на гитаре все ту же грустную песню. Восходит луна. Где-то около тополей Варя ищет Аню и зовет: «Аня! Где ты?»

Трофимов. Да, восходит луна.

Пауза.

Вот оно, счастье, вот оно идет, подходит все ближе и ближе, я уже слышу его шаги. И если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его увидят другие!

Голос Вари: «Аня! Где ты?»

Опять эта Варя! (Сердито.) Возмутительно!

Аня. Что ж? Пойдемте к реке. Там хорошо.

Трофимов. Пойдемте.

Идут.

Голос Вари: «Аня! Аня!»

Занавес

Действие третье

Гостиная, отделенная аркой от залы. Горит люстра. Слышно, как в передней играет еврейский оркестр, тот самый, о котором упоминается во втором акте. Вечер. В зале танцуют grand-rond. Голос Симеонова-Пищика: «Promenade à une paire!» Выходят в гостиную: в первой паре Пищик и Шарлотта Ивановна, во второй – Трофимов и Любовь Андреевна, в третьей – Аня с почтовым чиновником, в четвертой – Варя с начальником станции и т. д. Варя тихо плачет и, танцуя, утирает слезы. В последней паре Дуняша. Идут по гостиной. Пищик кричит: «Grand-rond balancez!» и «Les cavaliers à genoux et remerciez vos dames![49]».

Фирс во фраке приносит на подносе сельтерскую воду. Входят в гостиную Пищик и Трофимов.

Пищик. Я полнокровный, со мной уже два раза удар был, танцевать трудно, но, как говорится, попал в стаю, лай не лай, а хвостом вилай. Здоровье-то у меня лошадиное. Мой покойный родитель, шутник, Царство Небесное, насчет нашего происхождения говорил так, будто древний род наш Симеоновых-Пищиков происходит будто бы от той самой лошади, которую Калигула посадил в сенате... (Садится.) Но вот беда: денег нет! Голодная собака верует только в мясо... (Храпит и тотчас же просыпается.) Так и я... могу только про деньги...

Трофимов. А у вас в фигуре в самом деле есть что-то лошадиное.

Пищик. Что ж... лошадь хороший зверь... лошадь продать можно...

Слышно, как в соседней комнате играют на бильярде.

В зале под аркой показывается Варя.

Трофимов (дразнит). Мадам Лопахина! Мадам Лопахина!..

Варя (сердито). Облезлый барин!

Трофимов. Да, я облезлый барин и горжусь этим!

Варя (в горьком раздумье). Вот наняли музыкантов, а чем платить? (Уходит.)

Трофимов (Пищику). Если бы энергия, которую вы в течение всей вашей жизни затратили на поиски денег для уплаты процентов, пошла у вас на что-нибудь другое, то, вероятно, в конце концов вы могли бы перевернуть землю.

Пищик. Ницше... философ... величайший, знаменитейший... громадного ума человек, говорит в своих сочинениях, будто фальшивые бумажки делать можно.

Трофимов. А вы читали Ницше?

Пищик. Ну... Мне Дашенька говорила. А я теперь в таком положении, что хоть фальшивые бумажки делай... Послезавтра триста десять рублей платить... Сто тридцать уже достал... (Ощупывает карманы, встревоженно.) Деньги пропали! Потерял деньги! (Сквозь слезы.) Где деньги? (Радостно.) Вот они, за подкладкой... Даже в пот ударило...

Входят Любовь Андреевна и Шарлотта Ивановна.

Любовь Андреевна (напевает лезгинку). Отчего так долго нет Леонида? Что он делает в городе? (Дуняше.) Дуняша, предложите музыкантам чаю...

Трофимов. Торги не состоялись, по всей вероятности.

Любовь Андреевна. И музыканты пришли некстати, и бал мы затеяли некстати... Ну, ничего... (Садится и тихо напевает.)

Шарлотта (подает Пищику колоду карт). Вот вам колода карт, задумайте какую-нибудь одну карту.

Пищик. Задумал.

Шарлотта. Тасуйте теперь колоду. Очень хорошо. Дайте сюда, о мой милый господин Пищик. Ein, zwei, drei![50] Теперь поищите, она у вас в боковом кармане...

Пищик (достает из бокового кармана карту). Восьмерка пик, совершенно верно! (Удивляясь.) Вы подумайте!

Шарлотта (держит на ладони колоду карт, Трофимову). Говорите скорее, какая карта сверху?

Трофимов. Что ж? Ну, дама пик.

Шарлотта. Есть! (Пищику.) Ну? Какая карта сверху?

Пищик. Туз червовый.

Шарлотта. Есть! (Бьет по ладони, колода карт исчезает.) А какая сегодня хорошая



погода!

Ей отвечает таинственный женский голос, точно из-под пола: «О да, погода великолепная, сударыня».

Вы такой хороший мой идеал...

Голос: «Вы, сударыня, мне тоже очень понравился».

Начальник станции (аплодирует). Госпожа чревовещательница, браво!

Пищик (удивляясь). Вы подумайте! Очаровательнейшая Шарлотта Ивановна... я просто влюблен...

Шарлотта. Влюблен? (Пожав плечами.) Разве вы можете любить? Guter Mensch, aber schlechter Musikant[51].

Трофимов (хлопает Пищика по плечу). Лошадь вы этакая...

Шарлотта. Прошу внимания, еще один фокус. (Берет со стула плед.) Вот очень хороший плед, я желаю продавать... (Встряхивает.) Не желает ли кто покупать?

Пищик (удивляясь). Вы подумайте!

Шарлотта. Ein, zwei, drei! (Быстро поднимает опущенный плед.)

За пледом стоит Аня; она делает реверанс, бежит к матери, обнимает ее и убегает назад в залу при общем восторге.

Любовь Андреевна (аплодирует). Браво, браво!..

Шарлотта. Теперь еще! Ein, zwei, drei. (Поднимает плед.)

За пледом стоит Варя и кланяется.

Пищик (удивляясь). Вы подумайте!

Шарлотта. Конец! (Бросает плед на Пищика, делает реверанс и убегает в залу.)

Пищик (спешит за ней). Злодейка... какова? какова? (Уходит.)

Любовь Андреевна. А Леонида все нет. Что он делает в городе так долго, не понимаю! Ведь все уже кончено там, имение продано или торги не состоялись, зачем же так долго держать в неведении!

Варя (стараясь ее утешить). Дядечка купил, я в этом уверена.

Трофимов (насмешливо). Да.

Варя. Бабушка прислала ему доверенность, чтобы он купил на ее имя с переводом долга. Это она для Ани. И я уверена, Бог поможет, дядечка купит.

Любовь Андреевна. Ярославская бабушка прислала пятнадцать тысяч, чтобы купить имение на ее имя, – нам она не верит, – а этих денег не хватило бы даже проценты заплатить. (Закрывает лицо руками.) Сегодня судьба моя решается, судьба...

Трофимов (дразнит Варю). Мадам Лопахина!

Варя (сердито). Вечный студент! Уже два раза увольняли из университета.

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Любовь Андреевна. Что же ты сердисься, Варя? Он дразнит тебя Лопахиным, ну что ж? Хочешь – выходи за Лопахина, он хороший, интересный человек. Не хочешь – не выходи; тебя, дуся, никто не неволит...

Варя. Я смотрю на это дело серьезно, мамочка, надо прямо говорить. Он хороший человек, мне нравится.

Любовь Андреевна. И выходи. Что же ждать, не понимаю!

Варя. Мамочка, не могу же я сама делать ему предложение. Вот уже два года все мне говорят про него, все говорят, а он или молчит, или шутит. Я понимаю. Он богатеет, занят делом, ему не до меня. Если бы были деньги, хоть немного, хоть бы сто рублей, бросила бы я все, ушла бы подальше. В монастырь бы ушла.

Трофимов. Благолепие!

Варя (Трофимову). Студенту надо быть умным! (Мягким тоном, со слезами.) Какой вы стали некрасивый, Петя, как постарели! (Любови Андреевне, уже не плача.) Только вот без дела не могу, мамочка. Мне каждую минуту надо что-нибудь делать.

Входит Яша.

Яша (едва удерживаясь от смеха). Епиходов бильярдный кий сломал!.. (Уходит.)

Варя. Зачем же Епиходов здесь? Кто ему позволил на бильярде играть? Не понимаю этих людей... (Уходит.)

Любовь Андреевна. Не дразните ее, Петя, вы видите, она и без того в горе.

Трофимов. Уж очень она усердная, не в свое дело суется. Все лето не давала покоя ни мне, ни Ане, боялась, как бы у нас романа не вышло. Какое ей дело? И к тому же я вида не подавал, я так далек от пошлости. Мы выше любви!

Любовь Андреевна. А я вот, должно быть, ниже любви. (В сильном беспокойстве.) Отчего нет Леонида? Только бы знать: продано имение или нет? Несчастье представляется мне до такой степени невероятным, что даже как-то не знаю, что думать, теряюсь... Я могу сейчас крикнуть... могу глупость сделать. Спасите меня, Петя. Говорите же что-нибудь, говорите...

Трофимов. Продано ли сегодня имение или не продано – не все ли равно? С ним давно уже покончено, нет поворота назад, заросла дорожка. Успокойтесь, дорогая. Не надо обманывать себя, надо хоть раз в жизни взглянуть правде прямо в глаза.

Любовь Андреевна. Какой правде? Вы видите, где правда и где неправда, а я точно потеряла зрение, ничего не вижу. Вы смело решаете все важные вопросы, но скажите, голубчик, не потому ли это, что вы молоды, что вы не успели перестрадать ни одного вашего вопроса? Вы смело смотрите вперед, и не потому ли, что не видите и не ждете ничего страшного, так как жизнь еще скрыта от ваших молодых глаз? Вы смелее, честнее, глубже нас, но вдумайтесь, будьте великодушны хоть на кончике пальца, пощадите меня. Ведь я родилась здесь, здесь жили мои отец и мать, мой дед, я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни, и если уж так нужно продавать, то продавайте и меня вместе с садом... (Обнимает Трофимова, целует его в лоб.) Ведь мой сын утонул здесь... (Плачет.) Пожалейте меня, хороший, добрый человек.

Трофимов. Вы знаете, я сочувствую всей душой.

Любовь Андреевна. Но надо иначе, иначе это сказать... (Вынимает платок, на пол падает телеграмма.) У меня сегодня тяжело на душе, вы не можете себе представить. Здесь мне шумно, дрожит душа от каждого звука, я вся дрожу, а уйти к себе не могу, мне одной в тишине страшно. Не осуждайте меня, Петя... Я вас люблю, как родного. Я охотно бы отдала за вас Аню, клянусь вам, только, голубчик, надо же учиться, надо курс кончить. Вы ничего не делаете, только судьба бросает вас с места на место, так это странно... Не правда ли? Да? И надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь... (Смеется.) Смешной вы!

Трофимов (поднимает телеграмму). Я не желаю быть красавцем.

Любовь Андреевна. Это из Парижа телеграмма. Каждый день получаю. И вчера и сегодня. Этот дикий человек опять заболел, опять с ним нехорошо... Он просит прощения, умоляет приехать, и по-настоящему мне следовало бы съездить в Париж, побыть возле него. У вас, Петя, строгое лицо, но что же делать, голубчик мой, что мне делать, он болен, он одинок, несчастлив, а кто там поглядит за ним, кто удержит его от ошибок, кто даст ему вовремя лекарство? И что ж тут скрывать или молчать, я люблю его, это ясно. Люблю, люблю... Это камень на моей шее, я иду с ним на дно, но я люблю этот камень и жить без него не могу. (Жмет Трофимову руку.) Не думайте дурно, Петя, не говорите мне ничего, не говорите...

Трофимов (сквозь слезы). Простите за откровенность, Бога ради: ведь он обобрал вас!

Любовь Андреевна. Нет, нет, нет, не надо говорить так... (Закрывает уши.)

Трофимов. Ведь он негодяй, только вы одна не знаете этого! Он мелкий негодяй, ничтожество...

Любовь Андреевна (рассердившись, но сдержанно). Вам двадцать шесть лет или двадцать семь, а вы все еще гимназист второго класса!

Трофимов. Пусть!

Любовь Андреевна. Надо быть мужчиной, в ваши годы надо понимать тех, кто любит. И надо самому любить... надо влюбляться! (Сердито.) Да, да! И у вас нет чистоты, а вы просто чистюлька, смешной чудак, урод...

Трофимов (в ужасе). Что она говорит!

Любовь Андреевна. «Я выше любви»! Вы не выше любви, а просто, как вот говорит наш Фирс, вы недотепа. В ваши годы не иметь любовницы!..

Трофимов (в ужасе). Это ужасно! Что она говорит?! (Идет быстро в залу, схватив себя за голову.) Это ужасно... Не могу, я уйду... (Уходит, но тотчас же возвращается.) Между нами все кончено! (Уходит в переднюю.)

Любовь Андреевна (кричит вслед). Петя, погодите! Смешной человек, я пошутила! Петя!

Слышно, как в передней кто-то быстро идет по лестнице и вдруг с грохотом падает вниз. Аня и Варя вскрикивают, но тотчас же слышится смех.

Что там такое?

Вбегает Аня.

Аня (смеясь). Петя с лестницы упал! (Убегает.)

Любовь Андреевна. Какой чудак этот Петя...

Начальник станции останавливается среди залы и читает «Грешницу» А. Толстого[52]. Его слушают, но едва он прочел несколько строк, как из передней доносятся звуки вальса, и чтение обрывается. Все танцуют. Проходят из передней Трофимов, Аня, Варя и Любовь Андреевна.

Ну, Петя... ну, чистая душа... я прощения прошу... Пойдемте танцевать... (Танцует с Петей.)

Аня и Варя танцуют.

Фирс входит, ставит свою палку около боковой двери. Яша тоже вошел из гостиной, смотрит на танцы.

Яша. Что, дедушка?

Фирс. Нездоровится. Прежде у нас на балах танцевали генералы, бароны, адмиралы, а теперь посылаем за почтовым чиновником и начальником станции, да и те не в охотку идут. Что-то ослабел я. Барин покойный, дедушка, всех сургучом пользовал, от всех болезней. Я сургуч принимаю каждый день уже лет двадцать, а то и больше; может, я от него и жив.

Яша. Надоел ты, дед. (Зевает.) Хоть бы ты поскорее подох.

Фирс. Эх ты... недотепа! (Бормочет.)

Трофимов и Любовь Андреевна танцуют в зале, потом в гостиной.

Любовь Андреевна. Mersi! Я посижу... (Садится.) Устала.

Входит Аня.

Аня (взволнованно). А сейчас на кухне какой-то человек говорил, что вишневый сад уже продан сегодня.

Любовь Андреевна. Кому продан?

Аня. Не сказал кому. Ушел. (Танцует с Трофимовым.)

Оба уходят в залу.

Яша. Это там какой-то старик болтал. Чужой.

Фирс. А Леонида Андреича еще нет, не приехал. Пальто на нем легкое, демисезон, того гляди простудится. Эх, молодо-зелено!

Любовь Андреевна. Я сейчас умру. Подите, Яша, узнайте, кому продано.

Яша. Да он давно ушел, старик-то. (Смеется.)

Любовь Андреевна (с легкой досадой). Ну, чему вы смеетесь? Чему рады?

Яша. Очень уж Епиходов смешной. Пустой человек. Двадцать два несчастья.

Любовь Андреевна. Фирс, если продадут имение, то куда ты пойдешь?

Фирс. Куда прикажете, туда и пойду.

Любовь Андреевна. Отчего у тебя лицо такое? Ты нездоров? Шел бы, знаешь, спать...

Фирс. Да... (С усмешкой.) Я уйду спать, а без меня тут кто подаст, кто распорядится? Один на весь дом.

Яша (Любови Андреевне). Любовь Андреевна! Позвольте обратиться к вам с просьбой, будьте так добры! Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой, сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно. (Оглядываясь, вполголоса.) Что ж там говорить, вы сами видите, страна необразованная, народ безнравственный, притом скука, на кухне кормят безобразно, а тут еще Фирс этот ходит, бормочет разные неподходящие слова. Возьмите меня с собой, будьте так

добры!

Входит Пищик.

Пищик. Позвольте просить вас... на вальсишку, прекраснейшая... (Любовь Андреевна идет с ним.) Очаровательная, все-таки сто восемьдесят рубликов я возьму у вас... Возьму... (Танцует.) Сто восемьдесят рубликов...

Перешли в залу.

Яша (тихо напевает). «Поймешь ли ты души моей волнение...» [53]

В зале фигура в сером цилиндре и в клетчатых панталонах машет руками и прыгает; крики: «Браво, Шарлотта Ивановна!»

Дуняша (остановилась, чтобы попудриться). Барышня велит мне танцевать, – кавалеров много, а дам мало, – а у меня от танцев кружится голова, сердце бьется. Фирс Николаевич, а сейчас чиновник с почты такое мне сказал, что у меня дыхание захватило.

Музыка стихает.

Фирс. Что же он тебе сказал?

Дуняша. Вы, говорит, как цветок.

Яша (зевает). Невежество... (Уходит.) Дуняша. Как цветок... Я такая деликатная девушка, ужасно люблю нежные слова.

Фирс. Закрутишься ты.

Входит Епиходов.

Епиходов. Вы, Авдотья Федоровна, не желаете меня видеть... как будто я какое насекомое. (Вздыхает.) Эх, жизнь!

Дуняша. Что вам угодно?

Епиходов. Несомненно, может, вы и правы. (Вздыхает.) Но, конечно, если взглянуть с точки зрения, то вы, позволю себе так выразиться, извините за откровенность, совершенно привели меня в состояние духа. Я знаю свою фортуна, каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье, и к этому я давно уже привык, так что с улыбкой гляжу на свою судьбу. Вы дали мне слово, и хотя я...

Дуняша. Прошу вас, после поговорим, а теперь оставьте меня в покое. Теперь я мечтаю. (Играет веером.)

Епиходов. У меня несчастье каждый день, и я, позволю себе так выразиться, только улыбаюсь, даже смеюсь.

Входит из залы Варя.

Варя. Ты все еще не ушел, Семен? Какой же ты, право, неуважительный человек. (Дуняше.) Ступай отсюда, Дуняша. (Епиходову.) То на бильярде играешь и кий сломал, то по гостинной расхаживаешь, как гость.

Епиходов. С меня взыскивать, позвольте вам выразиться, вы не можете.

Варя. Я не взыскиваю с тебя, а говорю. Только и знаешь, что ходишь с места на место, а делом не занимаешься. Конторщика держим, а неизвестно для чего.

Епиходов (обиженно). Работаю ли я, хожу ли, кушаю ли, играю ли на бильярде, про то могут рассуждать только люди понимающие и старшие.

Варя. Ты смеешь мне говорить это! (Вспылив.) Ты смеешь? Значит, я ничего не понимаю? Убирайся же вон отсюда! Сию минуту!

Епиходов (струсив). Прошу вас выражаться деликатным способом.

Варя (выйдя из себя). Сию же минуту вон отсюда! Вон!

Он идет к двери, она за ним.

Двадцать два несчастья! Чтобы духу твоего здесь не было! Чтобы глаза мои тебя не видели!

Епиходов вышел; за дверью его голос: «Я на вас буду жаловаться».

А, ты назад идешь? (Хватает палку, поставленную около двери фирсом.) Иди... Иди... Иди, я тебе покажу... А, ты идешь? Идешь? Так вот же тебе... (Замахивается.)

В это время входит Лопахин.

Лопахин. Покорнейше благодарю.

Варя (сердито и насмешливо). Виновата!

Лопахин. Ничего-с. Покорно благодарю за приятное угощение.

Варя. Не стоит благодарности. (Отходит, потом оглядывается и спрашивает мягко.) Я вас не ушибла?

Лопахин. Нет, ничего. Шишка, однако, вскочит огромная.

Голоса в зале: «Лопахин приехал? Ермолай Алексеич!»

Пищик. Видом видать, слухом слышать... (Целуется с Лопахиным.) Коньячком от тебя попахивает, милый мой, душа моя. А мы тут тоже веселимся.

Входит Любовь Андреевна.

Любовь Андреевна. Это вы, Ермолай Алексеич? Отчего так долго? Где Леонид?

Лопахин. Леонид Андреич со мной приехал, он идет...

Любовь Андреевна (волнуясь.) Ну, что? Были торги? Говорите же!

Лопахин (сконфуженно, боясь обнаружить свою радость). Торги кончились к четырем часам... Мы к поезду опоздали, пришлось ждать до половины десятого. (Тяжело вздохнув.) Уф! У меня немножко голова кружится...

Входит Гаев; в правой руке у него покупки, левой он утирает слезы.

Любовь Андреевна. Леня, что? Леня, ну? (Нетерпеливо, со слезами.) Скорей же, Бога ради...

Гаев (ничего ей не отвечает, только машет рукой; Фирсу, плача). Вот возьми... Тут анчоусы, керченские сельди... Я сегодня ничего не ел... Столько я выстрадал!

Дверь в бильярдную открыта; слышен стук шаров и голос Яши: «Семь и восемнадцать!» У Гаева меняется выражение, он уже не плачет.

Устал я ужасно. Дашь мне, Фирс, переодеться. (Уходит к себе через залу, за ним Фирс.)

Пищик. Что на торгах? Рассказывай же!

Любовь Андреевна. Продан вишневый сад?

Лопехин. Продан.

Любовь Андреевна. Кто купил?

Лопехин. Я купил.

Пауза.

Любовь Андреевна угнетена; она упала бы, если бы не стояла возле кресла и стола. Варя снимает с пояса ключи, бросает их на пол, посреди гостиной, и уходит.

Я купил! Погодите, господа, сделайте милость, у меня в голове помутилось, говорить не могу... (Смеется.) Пришли мы на торги, там уже Дериганов. У Леонида Андреевича было только пятнадцать тысяч, а Дериганов сверх долга сразу надавал тридцать. Вижу, дело такое, я схватился с ним, надавал сорок. Он сорок пять. Я пятьдесят пять. Он, значит, по пяти надбавляет, я по десяти... Ну, кончилось. Сверх долга я надавал девяносто, осталось за мной. Вишневый сад теперь мой! Мой! (Хохочет.) Боже мой, Господи, вишневый сад мой! Скажите мне, что я пьян, не в своем уме, что все это мне представляется... (Топочет ногами.) Не смейтесь надо мной! Если бы отец мой и дед встали из гробов и посмотрели на все происшествие, как их Ермолай, битый, малограмотный Ермолай, который зимой босиком бегал, как этот самый Ермолай купил имение, прекрасней которого ничего нет на свете. Я купил имение, где дед и отец были рабами, где их не пускали даже в кухню. Я сплю, это только мерещится мне, это только кажется... Это плод вашего воображения, покрытый мраком неизвестности... (Поднимает ключи, ласково улыбаясь.) Бросила ключи, хочет показать, что она уж не хозяйка здесь... (Звенит ключами.) Ну, да все равно.

Слышно, как настраивается оркестр.

Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопехин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья! Настроим мы дач, и наши внуки и правнуки увидят тут новую жизнь... Музыка, играй!

Играет музыка. Любовь Андреевна опустила на стул и горько плачет.

(С укором.) Отчего же, отчего вы меня не послушали? Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. (Со слезами.) О, скорее бы все это прошло, скорее бы изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь.

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Пищик (берет его под руку, вполголоса). Она плачет. Пойдем в залу, пусть она одна... Пойдем... (Берет его под руку и уводит в залу.)

Лопехин. Что ж такое? Музыка, играй отчетливо! Пускай все, как я желаю! (С иронией.) Идет новый помещик, владелец вишневого сада! (Толкнул нечаянно столик, едва не опрокинул канделябры.) За все могу заплатить! (Уходит с Пищиком.)

В зале и гостиной нет никого, кроме Любви Андреевны, которая сидит, сжалась вся и горько плачет. Тихо играет музыка. Быстро входят Аня и Трофимов. Аня подходит к матери и становится перед ней на колени. Трофимов остается у входа в залу.

Аня. Мама!.. Мама, ты плачешь? Милая, добрая, хорошая моя мама, моя прекрасная, я люблю тебя... я благословляю тебя. Вишневый сад продан, его уже нет, это правда, правда, но не плачь, мама, у тебя осталась жизнь впереди, осталась твоя хорошая, чистая душа... Пойдем со мной, пойдем, милая, отсюда, пойдем!.. Мы насадим новый сад, роскошнее этого, ты увидишь его, поймешь, и радость, тихая, глубокая радость опустится на твою душу, как солнце в вечерний час, и ты улыбнешься, мама! Пойдем, милая! Пойдем!..

Занавес

Действие четвертое

Декорация первого акта. Нет ни занавесей на окнах, ни картин, осталось немного мебели, которая сложена в один угол, точно для продажи. Чувствуется пустота. Около выходной двери и в глубине сцены сложены чемоданы, дорожные узлы и т. п. Налево дверь открыта, оттуда слышны голоса Вари и Ани. Лопехин стоит ждет. Яша держит поднос со стаканчиками, налитыми шампанским. В передней Епиходов увязывает ящик. За сценой в глубине гул. Это пришли прощаться мужики. Голос Гаева: «Спасибо, братцы, спасибо вам».

Яша. Простой народ прощаться пришел. Я такого мнения, Ермолай Алексеич: народ добрый, но мало понимает.

Гул стихает. Входят через переднюю Любовь Андреевна и Гаев; она не плачет, но бледна, лицо ее дрожит, она не может говорить.

Гаев. Ты отдала им свой кошелек, Люба. Так нельзя! Так нельзя!

Любовь Андреевна. Я не смогла! Я не смогла!

Оба уходят.

Лопехин (в дверь, им вслед). Пожалуйста, покорнейше прошу! По стаканчику на прощанье. Из города не догадался привезть, а на станции нашел только одну бутылку. Пожалуйста!

Пауза.

Что ж, господа! Не желаете? (Отходит от двери.) Знал бы – не покупал. Ну, и я пить не стану.

Яша осторожно ставит поднос на стул.

Выпей, Яша, хоть ты.



Яша. С отъезжающими! Счастливо оставаться! (Пьет.) Это шампанское не настоящее, могу вас уверить.

Лопехин. Восемь рублей бутылка.

Пауза.

Холодно здесь чертовски.

Яша. Не топили сегодня, все равно уезжаем. (Смеется.)

Лопехин. Что ты?

Яша. От удовольствия.

Лопехин. На дворе октябрь, а солнечно и тихо, как летом. Строиться хорошо. (Поглядев на часы, в дверь.) Господа, имейте в виду, до поезда осталось всего сорок шесть минут! Значит, через двадцать минут на станцию ехать. Поторапливайтесь.

Трофимов в пальто входит со двора.

Трофимов. Мне кажется, ехать уже пора. Лошади поданы. Черт его знает, где мои калоши. Пропали. (В дверь.) Аня, нет моих калош! Не нашел!

Лопехин. А мне в Харьков надо. Поеду с вами в одном поезде. В Харькове проживу всю зиму. Я все болтался с вами, замучился без дела. Не могу без работы, не знаю, что вот делать с руками; болтаются как-то странно, точно чужие.

Трофимов. Сейчас уедем, и вы опять приметесь за свой полезный труд.

Лопехин. Выпей-ка стаканчик.

Трофимов. Не стану.

Лопехин. Значит, в Москву теперь?

Трофимов. Да, провожу их в город, а завтра в Москву.

Лопехин. Да... Что ж, профессора не читают лекций, небось все ждут, когда приедешь!

Трофимов. Не твое дело.

Лопехин. Сколько лет, как ты в университете учишься?

Трофимов. Придумай что-нибудь поновее. Это старо и плоско. (Ищет калоши.) Знаешь, мы, пожалуй, не увидимся больше, так вот позволь мне дать тебе на прощанье один совет: не размахивай руками! Отвыкни от этой привычки – размахивать. И тоже вот строить дачи, рассчитывать, что из дачников со временем выйдут отдельные хозяева, рассчитывать так – это тоже значит размахивать. Как-никак все-таки я тебя люблю. У тебя тонкие, нежные пальцы, как у артиста, у тебя тонкая, нежная душа...

Лопехин (обнимает его). Прощай, голубчик. Спасибо за все. Ежели нужно, возьми у меня денег на дорогу.

Трофимов. Для чего мне? Не нужно.

Лопехин. Ведь у вас нет!

Трофимов. Есть. Благодарю вас. Я за перевод получил. Вот они тут, в кармане. (Тревожно.) А калош моих нет!

Варя (из другой комнаты). Возьмите вашу гадость! (Выбрасывает на сцену пару резиновых калош.)

Трофимов. Что же вы сердитесь, Варя? Гм... Да это не мои калоши!

Лопахин. Я весной посеял маку тысячу десятин и теперь заработал сорок тысяч чистого. А когда мой мак цвел, что это была за картина! Так вот я, говорю, заработал сорок тысяч и, значит, предлагаю тебе займы, потому что могу. Зачем же нос драть? Я мужик... попросту.

Трофимов. Твой отец был мужик, мой – аптекарь, и из этого не следует решительно ничего.

Лопахин вынимает бумажник.

Оставь, оставь... Дай мне хоть двести тысяч, не возьму. Я свободный человек. И все, что так высоко и дорого цените вы все, богатые и нищие, не имеет надо мной ни малейшей власти, вот как пух, который носится по воздуху. Я могу обходиться без вас, я могу проходить мимо вас, я силен и горд. Человечество идет к высшей правде, к высшему счастью, какое только возможно на земле, и я в первых рядах!

Лопахин. Дойдешь?

Трофимов. Дойду.

Пауза.

Дойду или укажу другим путь, как пойти.

Слышно, как вдали стучат топором по дереву.

Лопахин. Ну, прощай, голубчик. Пора ехать. Мы друг перед другом нос дерем, а жизнь знай себе проходит. Когда я работаю подолгу, без усталости, тогда мысли полегче, и кажется, будто мне тоже известно, для чего я существую. А сколько, брат, в России людей, которые существуют неизвестно для чего. Ну, все равно, циркуляция дела не в этом. Леонид Андреич, говорят, принял место, будет в банке, шесть тысяч в год... Только ведь не усидит, ленив очень...

Аня (в дверях). Мама вас просит: пока она не уехала, чтоб не рубили сада.

Трофимов. В самом деле, неужели не хватает такта... (Уходит через переднюю.)

Лопахин. Сейчас, сейчас... Экие, право. (Уходит за ним.)

Аня. Фирса отправили в больницу?

Яша. Я утром говорил. Отправили, надо думать.

Аня (Епиходову, который проходит через залу). Семен Пантелеич, справьтесь, пожалуйста, отвезли ли фирса в больницу.

Яша (обиженно). Утром я говорил Егору. Что ж спрашивать по десяти раз!

Епиходов. Долголетний фирс, по моему окончательному мнению, в починку не годится, ему надо к праотцам. А я могу ему только завидовать. (Положил чемодан на картонку со шляпой и раздавил.) Ну, вот, конечно. Так и знал. (Уходит.)

Яша (насмешливо). Двадцать два несчастья...

Варя (за дверью). Фирса отвезли в больницу?

Аня. Отвезли.

Варя. Отчего же письмо не взяли к доктору?

Аня. Так надо послать вдогонку... (Уходит.)

Варя (из соседней комнаты). Где Яша? Скажите, мать его пришла, хочет проститься с ним.

Яша (машет рукой). Выводят только из терпения.

Дуняша все время хлопчет около вещей; теперь, когда Яша остался один, она подошла к нему.

Дуняша. Хоть бы взглянули разочек, Яша. Вы уезжаете... меня покидаете... (Плачет и бросается ему на шею.)

Яша. Что ж плакать? (Пьет шампанское.) Через шесть дней я опять в Париже. Завтра сядем в курьерский поезд и закатим, только нас и видели. Даже как-то не верится. Вив ла франс!.. [54] Здесь не по мне, не могу жить... ничего не поделаешь. Насмотрелся на невежество – будет с меня. (Пьет шампанское.) Что ж плакать? Ведите себя прилично, тогда не будете плакать.

Дуняша (пудрится, глядясь в зеркальце). Пришлите из Парижа письмо. Ведь я вас любила, Яша, так любила! Я нежное существо, Яша!

Яша. Идут сюда. (Хлопчет около чемоданов, тихо напевает.)

Входят Любовь Андреевна, Гаев, Аня и Шарлотта Ивановна.

Гаев. Ехать бы нам. Уже немного осталось. (Глядя на Яшу.) От кого это селедкой пахнет?

Любовь Андреевна. Минут через десять давайте уже в экипажи садиться... (Окидывает взглядом комнату.) Прощай, милый дом, старый дедушка. Пройдет зима, настанет весна, а там тебя уже не будет, тебя сломают. Сколько видели эти стены! (Целует горячо дочь.) Сокровище мое, ты сияешь, твои глазки играют, как два алмаза. Ты довольна? Очень?

Аня. Очень! Начинается новая жизнь, мама!

Гаев (весело). В самом деле, теперь все хорошо. До продажи вишневого сада мы все волновались, страдали, а потом, когда вопрос был решен окончательно, бесповоротно, все успокоились, повеселели даже... Я банковский служака, теперь я финансист... желтого в середину, и ты, Люба, как-никак выглядишь лучше, это несомненно.

Любовь Андреевна. Да. Нервы мои лучше, это правда.

Ей подадут шляпу и пальто.

Я сплю хорошо. Выносите мои вещи, Яша. Пора. (Ане.) Девочка моя, скоро мы увидимся... Я уезжаю в Париж, буду жить там на те деньги, которые прислала твоя ярославская бабушка на покупку имения – да здравствует бабушка! – а денег этих хватит ненадолго.

Аня. Ты, мама, вернешься скоро, скоро... не правда ли? Я подготовлюсь, выдержу экзамен в гимназии и потом буду работать, тебе помогать. Мы, мама, будем вместе читать разные книги... Не правда ли? (Целует матери руки.) Мы будем читать в

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
осенние вечера, прочтем много книг, и перед нами откроется новый, чудесный мир...  
(Мечтает.) Мама, приезжай...

Любовь Андреевна. Приеду, мое золото. (Обнимает дочь.)

Входит Лопахин. Шарлотта тихо напевает песенку.

Гаев. Счастливая Шарлотта: поет!

Шарлотта (берет узел, похожий на свернутого ребенка). Мой ребеночек, бай, бай...

Слышится плач ребенка: «Уа, уа!..»

Замолчи, мой хороший, мой милый мальчик.

«Уа!.. уа!..»

Мне тебя так жалко! (Бросает узел на место.) Так вы, пожалуйста, найдите мне место. Я не могу так.

Лопахин. Найдем, Шарлотта Ивановна, не беспокойтесь.

Гаев. Все нас бросают, Варя уходит... мы стали вдруг не нужны.

Шарлотта. В городе мне жить негде. Надо уходить... (Напевает.) Все равно...

Входит Пищик.

Лопахин. Чудо природы!..

Пищик (запыхавшись). Ой, дайте отдышаться... замучился... Мои почтеннейшие... Воды дайте...

Гаев. За деньгами небось? Слуга покорный, ухажу от греха... (Уходит.)

Пищик. Давненько не был у вас... прекраснейшая... (Лопахину.) Ты здесь... рад тебя видеть... громаднейшего ума человек... возьми... получи... (Подает Лопахину деньги.) Четыреста рублей... За мной остается восемьсот сорок...

Лопахин (в недоумении пожимает плечами). Точно во сне... Ты где же взял?

Пищик. Постой... жарко... событие необычайнейшее. Приехали ко мне англичане и нашли в земле какую-то белую глину... (Любови Андреевне.) И вам четыреста... прекрасная, удивительная... (Подает деньги.) Остальные потом. (Пьет воду.) Сейчас один молодой человек рассказывал в вагоне, будто какой-то... великий философ советует прыгать с крыш... «Прыгай!» – говорит, и в этом вся задача. (Удивленно.) Вы подумайте! Воды!..

Лопахин. Какие же это англичане?

Пищик. Сдал им участок с глиной на двадцать четыре года... А теперь, извините, некогда... надо скакать дальше... Поеду к Знойкову... к Кардамонову... Всем должен... (Пьет.) Желаю здравствовать... В четверг заеду...

Любовь Андреевна. Мы сейчас переезжаем в город, а завтра я за границу...

Пищик. Как? (Встревоженно.) Почему в город? То-то я гляжу на мебель... чемоданы... Ну, ничего... (Сквозь слезы.) Ничего... Величайшего ума люди... эти англичане... Ничего... Будьте счастливы... Бог поможет вам... Ничего... Все на этом свете бывает конец... (Целует руку Любови Андреевне.) А дойдет до вас слух, что мне конец пришел,

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
вспомните вот эту самую.. лошадь и скажите: «Был на свете такой-сякой...  
Симеонов-Пищик... Царство ему Небесное...» Замечательнейшая погода... Да... (Уходит в  
сильном смущении, но тотчас же возвращается и говорит в дверях.) Кланялась вам  
Дашенька! (Уходит.)

Любовь Андреевна. Теперь можно и ехать. Уезжаю я с двумя заботами. Первая – это  
больной Фирс. (Взглянув на часы.) Еще минут пять можно...

Аня. Мама, Фирса уже отправили в больницу. Яша отправил утром.

Любовь Андреевна. Вторая моя печаль – Варя. Она привыкла рано вставать и  
работать, и теперь без труда она как рыба без воды. Похудела, побледнела и  
плачет, бедняжка...

Пауза.

Вы это очень хорошо знаете, Ермолай Алексеич; я мечтала... выдать ее за вас, да и  
по всему видно было, что вы женитесь. (Шепчет Ане, та кивает Шарлотте, и обе  
уходят.) Она вас любит, вам она по душе, и не знаю, не знаю, почему это вы точно  
сторонитесь друг друга. Не понимаю!

Лопухин. Я сам тоже не понимаю, признаться. Как-то странно все... Если есть еще  
время, то я хоть сейчас готов... Покончим сразу – и баста, а без вас я, чувствую,  
не сделаю предложения.

Любовь Андреевна. И превосходно. Ведь одна минута нужна, только. Я ее сейчас  
позову...

Лопухин. Кстати, и шампанское есть. (Поглядев на стаканчики.) Пустые, кто-то уже  
выпил.

Яша кашляет.

Это называется вылакать...

Любовь Андреевна (оживленно). Прекрасно. Мы выйдем... Яша, allez![55] Я ее позову...  
(В дверь.) Варя, оставь все, поди сюда. Иди! (Уходит с Яшей.)

Лопухин (поглядев на часы). Да...

Пауза.

За дверью сдержанный смех, шепот, наконец входит Варя.

Варя (долго осматривает вещи). Странно, никак не найду...

Лопухин. Что вы ищете?

Варя. Сама уложила и не помню.

Пауза.

Лопухин. Вы куда же теперь, Варвара Михайловна?

Варя. Я? К Рагулиным... Договорилась к ним смотреть за хозяйством... в экономки, что  
ли.

Лопухин. Это в Яшнево? Верст семьдесят будет.

Пауза.

Вот и кончилась жизнь в этом доме...

Варя (оглядывая вещи). Где же это... Или, может, я в сундук уложила... Да, жизнь в этом доме кончилась... больше уже не будет...

Лопехин. А я в Харьков уезжаю сейчас... вот с этим поездом. Дела много. А тут во дворе оставляю Епиходова... Я его нанял.

Варя. Что ж!

Лопехин. В прошлом году об эту пору уже снег шел, если припомните, а теперь тихо, солнечно. Только что вот холодно... Градуса три мороза.

Варя. Я не поглядела.

Пауза.

Да и разбит у нас градусник...

Пауза.

Голос в дверь со двора: «Ермолай Алексеич!»

Лопехин (точно давно ждал этого зова). Сию минуту! (Быстро уходит.)

Варя, сидя на полу, положив голову на узел с платьем, тихо рыдает. Отворяется дверь, осторожно входит Любовь Андреевна.

Любовь Андреевна. Что?

Пауза.

Надо ехать.

Варя (уже не плачет, вытерла глаза). Да, пора, мамочка. Я к Рагулиным поспею сегодня, не опоздать бы только к поезду...

Любовь Андреевна (в дверь). Аня, одевайся!

Входит Аня, потом Гаев, Шарлотта Ивановна. На Гаеве теплое пальто с башлыком. Сходится прислуга, извозчики.

Около вещей хлопочет Епиходов.

Теперь можно и в дорогу.

Аня (радостно). В дорогу!

Гаев. Друзья мои, милые, дорогие друзья мои! Покидая этот дом навсегда, могу ли я умолчать, могу ли удержаться, чтобы не высказать на прощанье те чувства, которые наполняют теперь все мое существо...

Аня (умоляюще). Дядя!

Варя. Дядечка, не нужно!

Гаев (уныло). Дуплетом желтого в середину... Молчу...

Входит Трофимов, потом Лопахин.

Трофимов. Что же, господа, пора ехать!

Лопахин. Епиходов, мое пальто!

Любовь Андреевна. Я посижу еще одну минутку. Точно раньше я никогда не видела, какие в этом доме стены, какие потолки, и теперь я гляжу на них с жадностью, с такой нежной любовью...

Гаев. Помню, когда мне было шесть лет, в Троицын день я сидел на этом окне и смотрел, как мой отец шел в церковь...

Любовь Андреевна. Все вещи забрали?

Лопахин. Кажется, все. (Епиходову, надевая пальто.) Ты же, Епиходов, смотри, чтобы все было в порядке.

Епиходов (говорит сиплым голосом). Будьте покойны, Ермолай Алексеич!

Лопахин. Что это у тебя голос такой?

Епиходов. Сейчас воду пил, что-то проглотил.

Яша (с презрением). Невежество...

Любовь Андреевна. Уедем – и здесь не останется ни души...

Лопахин. До самой весны.

Варя (выдергивает из узла зонтик, похоже, как будто она замахнулась; Лопахин делает вид, что испугался). Что вы, что вы... Я и не думала.

Трофимов. Господа, идемте садиться в экипажи... Уже пора! Сейчас поезд придет!

Варя. Петя, вот они, ваши калоши, возле чемодана. (Со слезами.) И какие они у вас грязные, старые...

Трофимов (надевая калоши). Идем, господа!..

Гаев (сильно смущен, боится заплакать). Поезд... станция... Круазе в середину, белого дуплетом в угол...

Любовь Андреевна. Идем!

Лопахин. Все здесь? Никого там нет? (Запирает боковую дверь налево.) Здесь вещи сложены, надо запереть. Идем!..

Аня. Прощай, дом! Прощай, старая жизнь!

Трофимов. Здравствуй, новая жизнь!.. (Уходит с Аней.)

Варя окидывает взглядом комнату и не спеша уходит. Уходят Яша и Шарлотта с собачкой.

Лопахин. Значит, до весны. Выходите, господа... До свиданция!.. (Уходит.)

Любовь Андреевна и Гаев остались вдвоем. Они точно ждали этого, бросаются на шею

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
друг другу и рыдают сдержанно, тихо, боясь, чтобы их не услышали.

Гаев (в отчаянии). Сестра моя, сестра моя...

Любовь Андреевна. О мой милый, мой нежный, прекрасный сад!.. Моя жизнь, моя молодость, счастье мое, прощай!.. Прощай!..

Голос Ани весело, призывающе: «Мама!..»

Голос Трофимова весело, возбужденно: «Ау!..»

Любовь Андреевна. В последний раз взглянуть на стены, на окна... По этой комнате любила ходить покойная мать...

Гаев. Сестра моя, сестра моя!..

Голос Ани: «Мама!..»

Голос Трофимова: «Ау!..»

Любовь Андреевна. Мы идем!..

Уходят.

Сцена пуста. Слышно, как на ключ запирают все двери, как потом отъезжают экипажи. Становится тихо. Среди тишины раздается глухой стук топора по дереву, звучащий одиноко и грустно. Слышатся шаги. Из двери, что направо, показывается Фирс. Он одет, как всегда, в пиджаке и белой жилетке, на ногах туфли. Он болен.

Фирс (подходит к двери, трогает за ручку). Заперто. Уехали... (Садится на диван.) Про меня забыли... Ничего... я тут посижу... А Леонид Андреич небось шубы не надел, в пальто поехал... (Озабоченно вздыхает.) Я-то не поглядел... Молодо-зелено! (Бормочет что-то, чего понять нельзя.) Жизнь-то прошла, словно и не жил. (Ложится.) Я полежу... Силушки-то у тебя нету, ничего не осталось, ничего... Эх ты... недотепа!.. (Лежит неподвижно.)

Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей струны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, как далеко в саду топором стучат по дереву.

Занавес

Дядя Ваня[56]  
Сцены из деревенской жизни в четырех действиях

Действующие лица  
Серебряков Александр Владимирович, отставной профессор.

Елена Андреевна, его жена, 27 лет.

Софья Александровна (Соня), его дочь от первого брака.

Войницкая Мария Васильевна, вдова тайного советника, мать первой жены профессора.



Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
Войницкий Иван Петрович, ее сын.

Астров Михаил Львович, врач.

Телегин Илья Ильич, обедневший помещик.

Марина, старая няня.

Работник.

Действие происходит в усадьбе Серебрякова.

Действие первое

Сад. Видна часть сада с террасой. На аллее под старым тополем стол, сервированный для чая. Скамьи, стулья; на одной из скамей лежит гитара. Недалеко от стола качели. Третий час дня.

Пасмурно.

Марина (сырая, малоподвижная старушка, сидит у самовара, вяжет чулок) и Астров (ходит возле).

Марина (наливает стакан). Кушай, батюшка.

Астров (нехотя принимает стакан). Что-то не хочется.

Марина. Может, водочки выпьешь?

Астров. Нет. Я не каждый день водку пью. К тому же душно.

Пауза.

Нянька, сколько прошло, как мы знакомы?

Марина (раздумывая). Сколько? Дай Бог память... Ты приехал сюда, в эти края... когда?... еще жива была Вера Петровна, Сонечкина мать. Ты при ней к нам две зимы ездил... Ну, значит, лет одиннадцать прошло. (Подумав.) А может, и больше...

Астров. Сильно я изменился с тех пор?

Марина. Сильно. Тогда ты молодой был, красивый, а теперь постарел. И красота уже не та. Тоже сказать – и водочку пьешь.

Астров. Да... В десять лет другим человеком стал. А какая причина? Заработался, нянька. От утра до ночи все на ногах, покою не знаю, а ночью лежишь под одеялом и боишься, как бы к больному не потащили. За все время, пока мы с тобою знакомы, у меня ни одного дня не было свободного. Как не постареть? Да и сама по себе жизнь скучна, глупа, грязна... Затягивает эта жизнь. Кругом тебя одни чудаки, сплошь одни чудаки, а поживешь с ними года два-три и мало-помалу сам, незаметно для себя, становишься чудаком. Неизбежная участь. (Закручивая свои длинные усы.) Ишь, громадные усы выросли... Глупые усы. Я стал чудаком, нянька... Поглупеть-то я еще не поглупел, Бог милостив, мозги на своем месте, но чувства как-то притупились. Ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю... Вот разве тебя только люблю. (Целует ее в голову.) У меня в детстве была такая же нянька.

Марина. Может, ты кушать хочешь?

Астров. Нет. В Великом посту на третьей неделе поехал я в Малицкое на эпидемию... Сыпной тиф... В избах народ вповалку... Грязь, вонь, дым, телята на полу, с большими вместе... Поросята тут же... Возился я целый день, не присел, маковой росинки во рту не было, а приехал домой, не дают отдохнуть – привезли с железной дороги

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

стрелочника; положил я его на стол, чтобы ему операцию делать, а он возьми и умри у меня под хлороформом. И когда вот не нужно, чувства проснулись во мне, и защемило мою совесть, точно это я умышленно убил его... Сел я, закрыл глаза – вот этак – и думаю: те, которые будут жить через сто – двести лет после нас и для которых мы теперь пробиваем дорогу, помянут ли нас добрым словом? Нянька, ведь не помянут!

Марина. Люди не помянут, зато Бог помянет.

Астров. Вот спасибо. Хорошо ты сказала.

Входит Войницкий.

Войницкий (выходит из дому; он выспался после завтрака и имеет помятый вид; садится на скамью, поправляет свой щегольской галстук). Да...

Пауза.

Да...

Астров. Выспался?

Войницкий. Да... Очень. (Зевает.) С тех пор как здесь живет профессор со своею супругой, жизнь выбилась из колеи... Сплю не вовремя, за завтраком и обедом ем разные кабулы, пью вина... нездорово все это! Прежде минуты свободной не было, я и Соня работали – мое почтение, а теперь работает одна Соня, а я сплю, ем, пью... Нехорошо!

Марина (покачав головой). Порядки! Профессор встает в двенадцать часов, а самовар кипит с утра, все его дожидается. Без них обедали всегда в первом часу, как везде у людей, а при них в седьмом. Ночью профессор читает и пишет, и вдруг часу во втором звонок... Что такое, батюшки? Чаю! Буди для него народ, ставь самовар... Порядки!

Астров. И долго они еще здесь проживут?

Войницкий (свистит). Сто лет. Профессор решил поселиться здесь.

Марина. Вот и теперь. Самовар уже два часа на столе, а они гулять пошли.

Войницкий. Идут, идут... Не волнуйся.

Слышны голоса; из глубины сада, возвращаясь с прогулки, идут Серебряков, Елена Андреевна, Соня и Телегин.

Серебряков. Прекрасно, прекрасно... Чудесные виды.

Телегин. Замечательные, ваше превосходительство.

Соня. Мы завтра поедem в лесничество, папа. Хочешь?

Войницкий. Господа, чай пить!

Серебряков. Друзья мои, пришлите мне чай в кабинет, будьте добры! Мне сегодня нужно еще кое-что сделать.

Соня. А в лесничестве тебе непременно понравится...

Елена Андреевна, Серебряков и Соня уходят в дом; Телегин идет к столу и садится возле Марины.

Войницкий. Жарко, душно, а наш великий ученый в пальто, в калошах, с зонтиком и в перчатках.

Астров. Стало быть, бережет себя.

Войницкий. А как она хороша! Как хороша! Во всю свою жизнь не видел женщины красивее.

Телегин. Еду ли я по полю, Марина Тимофеевна, гуляю ли в тенистом саду, смотрю ли на этот стол, я испытываю неизъяснимое блаженство! Погода очаровательная, птички поют, живем мы все в мире и согласии, – чего еще нам? (Принимая стакан.) Чувствительно вам благодарен!

Войницкий (мечтательно). Глаза.. Чудная женщина!

Астров. Расскажи-ка что-нибудь, Иван Петрович.

Войницкий (вяло). Что тебе рассказать?

Астров. Нового нет ли чего?

Войницкий. Ничего. Все старо. Я тот же, что и был, пожалуй, стал хуже, так как обленился, ничего не делаю и только ворчу, как старый хрен. Моя старая галка, тапан, все еще лепечет про женскую эмансипацию; одним глазом смотрит в могилу, а другим ищет в своих умных книжках зарю новой жизни.

Астров. А профессор?

Войницкий. А профессор по-прежнему от утра до глубокой ночи сидит у себя в кабинете и пишет. «Напрягши ум, наморщивши чело, все оды пишем, пишем, и ни себе, ни им похвал нигде не слышим». Бедная бумага! Он бы лучше свою автобиографию написал. Какой это превосходный сюжет! Отставной профессор, понимаешь ли, старый сухарь, ученая вобла.. Подагра, ревматизм, мигрень, от ревности и зависти вспухла печенка.. Живет эта вобла в имении своей первой жены, живет поневоле, потому что жить в городе ему не по карману. Вечно жалуется на свои несчастья, хотя, в сущности, сам необыкновенно счастлив. (Нервно.) Ты только подумай, какое счастье! Сын простого дьячка, бурсак, добился ученых степеней и кафедры, стал его превосходительством, зятем сенатора и проч. и проч. Все это не важно, впрочем. Но ты возьми вот что. Человек ровно двадцать пять лет читает и пишет об искусстве, ровно ничего не понимая в искусстве. Двадцать пять лет он пережевывает чужие мысли о реализме, натурализме и всяком другом вздоре; двадцать пять лет читает и пишет о том, что умным давно уже известно, а для глупых неинтересно; значит, двадцать пять лет переливает из пустого в порожнее. И в то же время какое самомнение! Какие претензии! Он вышел в отставку, и его не знает ни одна живая душа, он совершенно неизвестен; значит, двадцать пять лет он занимал чужое место. А посмотри: шагает как полубог!

Астров. Ну, ты, кажется, завидуешь.

Войницкий. Да, завидую! А какой успех у женщин! Ни один донжуан не знал такого полного успеха! Его первая жена, моя сестра, прекрасное, кроткое создание, чистая, как вот это голубое небо, благородная, великодушная, имевшая поклонников больше, чем он учеников, любила его так, как могут любить одни только чистые ангелы таких же чистых и прекрасных, как они сами. Моя мать, его теща, до сих пор обожает его, и до сих пор он внушает ей священный ужас. Его вторая жена, красавица, умница – вы ее только что видели, – вышла за него, когда уже он был стар, отдала ему молодость, красоту, свободу, свой блеск. За что? Почему?

Астров. Она верна профессору?

Войницкий. К сожалению, да.

Астров. Почему же к сожалению?

Войницкий. Потому что эта верность фальшива от начала до конца. В ней много риторики, но нет логики. Изменить старому мужу, которого терпеть не можешь, – это безнравственно; стараться же заглушить в себе бедную молодость и живое

чувство – это не безнравственно.

Телегин (плачущим голосом). Ваня, я не люблю, когда ты это говоришь. Ну вот, право... Кто изменяет жене или мужу, тот, значит, неверный человек, тот может изменить и отечеству!

Войницкий (с досадой). Заткни фонтан, Вафля!

Телегин. Позволь, Ваня. Жена моя бежала от меня на другой день после свадьбы с любимым человеком по причине моей непривлекательной наружности. После того я своего долга не нарушал. Я до сих пор ее люблю и верен ей, помогаю чем могу и отдал свое имущество на воспитание деточек, которых она прижила с любимым человеком. Счастья я лишился, но у меня осталась гордость. А она? Молодость уже прошла, красота под влиянием законов природы поблекла, любимый человек скончался... Что же у нее осталось?

Входят Соня и Елена Андреевна; немного погодя входит Мария Васильевна с книгой; она садится и читает; ей дают чаю, и она пьет не глядя.

Соня (торопливо, няне). Там, нянечка, мужики пришли. Поди поговори с ними, а чай я сама... (Наливает чай.)

Няня уходит. Елена Андреевна берет свою чашку и пьет, сидя на качелях.

Астров (Елене Андреевне). Я ведь к вашему мужу. Вы писали, что он очень болен, ревматизм и еще что-то, а, оказывается, он здоровехонек.

Елена Андреевна. Вчера вечером он хандрил, жаловался на боли в ногах, а сегодня ничего...

Астров. А я-то сломя голову скакал тридцать верст. Ну да ничего, не впервой. Зато уж останусь у вас до завтра и по крайней мере выплусь quantum satis[57].

Соня. И прекрасно. Это такая редкость, что вы у нас ночуете. Вы небось не обедали?

Астров. Нет-с, не обедал.

Соня. Так вот кстати и пообедаете. Мы теперь обедаем в седьмом часу. (Пьет.) Холодный чай!

Телегин. В самоваре уже значительно понизилась температура.

Елена Андреевна. Ничего, Иван Иванович, мы и холодный выпьем.

Телегин. Виноват-с... Не Иван Иванович, а Илья Ильич-с... Илья Ильич Телегин, или, как некоторые зовут меня по причине моего рябого лица, Вафля. Я когда-то крестил Сонечку, и его превосходительство, ваш супруг, знает меня очень хорошо. Я теперь у вас живу-с, в этом имени-с... Если изволили заметить, я каждый день с вами обедаю.

Соня. Илья Ильич – наш помощник, правая рука. (Нежно.) Давайте, крестненький, я вам еще налью.

Мария Васильевна. Ах!

Соня. Что с вами, бабушка?

Мария Васильевна. Забыла я сказать Александру... потеряла память... сегодня получила я письмо из Харькова от Павла Алексеевича... Прислал свою новую брошюру...

Астров. Интересно?

Мария Васильевна. Интересно, но как-то странно. Опровергает то, что семь лет

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
назад сам же защищал. Это ужасно!

Войницкий. Ничего нет ужасного. Пейте, матан, чай.

Мария Васильевна. Но я хочу говорить!

Войницкий. Но мы уже пятьдесят лет говорим и говорим и читаем брошюры. Пора бы уж и кончить.

Мария Васильевна. Тебе почему-то неприятно слушать, когда я говорю. Прости, Жан, но в последний год ты так изменился, что я тебя совершенно не узнаю... Ты был человеком определенных убеждений, светлою личностью...

Войницкий. О да! Я был светлою личностью, от которой никому не было светло...

Пауза.

Я был светлою личностью... Нельзя сострить ядовитей! Теперь мне сорок семь лет. До прошлого года я так же, как вы, нарочно старался отуманивать свои глаза вашу эту схоластику, чтобы не видеть настоящей жизни, – и думал, что делаю хорошо. А теперь, если бы вы знали! Я ночи не сплю с досады, от злости, что так глупо проворонил время, когда мог бы иметь все, в чем отказывает мне теперь моя старость!

Соня. Дядя Ваня, скучно!

Мария Васильевна (сыну). Ты точно обвиняешь в чем-то свои прежние убеждения... Но виноваты не они, а ты сам. Ты забывал, что убеждения сами по себе ничто, мертвая буква... Нужно было дело делать.

Войницкий. Дело? Не всякий способен быть пишущим *perpetuum mobile*[58], как ваш герр профессор.

Мария Васильевна. Что ты хочешь этим сказать?

Соня (умоляюще). Бабушка! Дядя Ваня! Умоляю вас!

Войницкий. Я молчу. Молчу и извиняюсь.

Пауза.

Елена Андреевна. А хорошая сегодня погода... Не жарко...

Пауза.

Войницкий. В такую погоду хорошо повеситься...

Телегин настраивает гитару. Марина ходит около дома и кличет кур.

Марина. Цып, цып, цып...

Соня. Нянечка, зачем мужики приходили?...

Марина. Все то же, опять все насчет пустоши. Цып, цып, цып...

Соня. Кого ты это?

Марина. Пеструшка ушла с цыплятами... Вороны бы не потаскали... (Уходит.)

Телегин играет польку; все молча слушают; входит Работник

Работник. Господин доктор здесь? (Астрову.) Пожалуйста, Михаил Львович, за вами приехали.

Астров. Откуда?

Работник. С фабрики.

Астров (с досадой). Покорно благодарю. Что ж, надо ехать... (Ищет глазами фуражку.) Досадно, черт подери...

Соня. Как это неприятно, право... С фабрики приезжайте обедать.

Астров. Нет, уж поздно будет. Где уж... Куда уж... (Работнику.) Вот что, притащи-ка мне, любезный, рюмку водки в самом деле.

Работник уходит.

Где уж... куда уж... (Нашел фуражку.) У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями...[59] Так это я. Ну, честь имею, господа... (Елене Андреевне.) Если когда-нибудь заглянете ко мне, вот вместе с Софьей Александровной, то буду искренно рад. У меня небольшое именишко, всего десяти-тридцать, но, если интересуетесь, образцовый сад и питомник, какого не найдете за тысячу верст кругом. Рядом со мною казенное лесничество... Лесничий там стар, болеет всегда, так что, в сущности, я заведую всеми делами.

Елена Андреевна. Мне уже говорили, что вы очень любите леса. Конечно, можно принести большую пользу, но разве это не мешает вашему настоящему призванию? Ведь вы доктор.

Астров. Одному Богу известно, в чем наше настоящее призвание.

Елена Андреевна. И интересно?

Астров. Да, дело интересное.

Войницкий (с иронией). Очень!

Елена Андреевна (Астрову). Вы еще молодой человек, вам на вид... ну, тридцать шесть – тридцать семь лет... и, должно быть, не так интересно, как вы говорите. Все лес и лес. Я думаю, однообразно.

Соня. Нет, это чрезвычайно интересно. Михаил Львович каждый год сажает новые леса, и ему уже прислали бронзовую медаль и диплом. Он хлопочет, чтобы не истребляли старых. Если вы выслушаете его, то согласитесь с ним вполне. Он говорит, что леса украшают землю, что они учат человека понимать прекрасное и внушают ему величавое настроение. Леса смягчают суровый климат. В странах, где мягкий климат, меньше тратится сил на борьбу с природой, и потому там мягче и нежнее человек; там люди красивы, гибки, легко возбудимы, речь их изящна, движения грациозны. У них процветают науки и искусства, философия их не мрачна, отношения к женщине полны изящного благородства...

Войницкий (смеясь). Bravo, bravo!.. Все это мило, но неубедительно, так что (Астрову) позволь мне, мой друг, продолжать топить печи дровами и строить сараи из дерева.

Астров. Ты можешь топить печи торфом, а сараи строить из камня. Ну, я допускаю, руби леса из нужды, но зачем истреблять их? Русские леса трещат под топором, гибнут миллиарды деревьев, опустошаются жилища зверей и птиц, мелеют и сохнут реки, исчезают безвозвратно чудные пейзажи, и все оттого, что у ленивого человека не хватает смысла нагнуться и поднять с земли топливо. (Елене Андреевне.) Не правда ли, сударыня? Надо быть безрассудным варваром, чтобы жечь в своей печке эту красоту, разрушать то, чего мы не можем создать. Человек одарен разумом и творческой силой, чтобы преумножать то, что ему дано, но до сих пор он не творил, а разрушал. Лесов все меньше и меньше, реки сохнут, дичь перевелась, климат испорчен, и с каждым днем земля становится все беднее и

безобразнее. (Войницкому.) Вот ты глядишь на меня с иронией, и все, что я говорю, тебе кажется несерьезным, и... и, быть может, это в самом деле чудачество, но когда я прохожу мимо крестьянских лесов, которые я спас от порубки, или когда я слышу, как шумит мой молодой лес, посаженный моими руками, я сознаю, что климат немножко и в моей власти и что если через тысячу лет человек будет счастлив, то в этом немножко буду виноват и я. Когда я сажаю березку и потом вижу, как она зеленеет и качается от ветра, душа моя наполняется гордостью, и я... (Увидев работника, который принес на подносе рюмку водки.) Однако... (пьет) мне пора. Все это, вероятно, чудачество, в конце концов. Честь имею кланяться! (Идет к дому.)

Соня (берет его под руку и идет вместе). Когда же вы приедете к нам?

Астров. Не знаю...

Соня. Опять через месяц?...

Астров и Соня уходят в дом; Мария Васильевна и Телегин остаются возле стола; Елена Андреевна и Войницкий идут к террасе.

Елена Андреевна. А вы, Иван Петрович, опять вели себя невозможно. Нужно было вам раздражать Марию Васильевну, говорить о *perpetuum mobile*! И сегодня за завтраком вы опять спорили с Александром. Как это мелко!

Войницкий. Но если я его ненавижу!

Елена Андреевна. Ненавидеть Александра не за что, он такой же, как все. Не хуже вас.

Войницкий. Если бы вы могли видеть свое лицо, свои движения... Какая вам лень жить! Ах, какая лень!

Елена Андреевна. Ах, и лень и скучно! Все бранят моего мужа, все смотрят на меня с сожалением: несчастная, у нее старый муж! Это участие ко мне – о, как я его понимаю! Вот как сказал сейчас Астров: все вы безрассудно губите леса, и скоро на земле ничего не останется. Точно так вы безрассудно губите человека, и скоро благодаря вам на земле не останется ни верности, ни чистоты, ни способности жертвовать собою. Почему вы не можете видеть равнодушно женщину, если она не ваша? Потому что – прав этот доктор – во всех вас сидит бес разрушения. Вам не жаль ни лесов, ни птиц, ни женщин, ни друг друга...

Войницкий. Не люблю я этой философии!

Пауза.

Елена Андреевна. У этого доктора утомленное нервное лицо. Интересное лицо. Соне, очевидно, он нравится, она влюблена в него, и я ее понимаю. При мне он был здесь уже три раза, но я застенчива и ни разу не поговорила с ним как следует, не обласкала его. Он подумал, что я зла. Вероятно, Иван Петрович, оттого мы с вами такие друзья, что оба мы нудные, скучные люди! Нудные! Не смотрите на меня так, я этого не люблю.

Войницкий. Могу ли я смотреть на вас иначе, если я люблю вас? Вы мое счастье, жизнь, моя молодость! Я знаю, шансы мои на взаимность ничтожны, равны нулю, но мне ничего не нужно, позвольте мне только глядеть на вас, слышать ваш голос...

Елена Андреевна. Тише, вас могут услышать!

Идут в дом.

Войницкий (идя за нею). Позвольте мне говорить о своей любви, не гоните меня прочь, и это одно будет для меня величайшим счастьем...

Елена Андреевна. Это мучительно...

Оба уходят в дом. Телегин бьет по струнам и играет польку; Мария Васильевна что-то записывает на полях брошюры.

Занавес

Действие второе

Столовая в доме Серебрякова. Ночь. Слышно, как в саду стучит сторож.

Серебряков (сидит в кресле перед открытым окном и дремлет) и Елена Андреевна (сидит подле него и тоже дремлет).

Серебряков (очнувшись). Кто здесь? Соня, ты?

Елена Андреевна. Это я.

Серебряков. Ты, Леночка... Невыносимая боль!

Елена Андреевна. У тебя плед упал на пол. (Кутает ему ноги.) Я, Александр, затворю окно.

Серебряков. Нет, мне душно... Я сейчас задремал, и мне снилось, будто у меня левая нога чужая. Проснулся от мучительной боли. Нет, это не подагра, скорей ревматизм. Который теперь час?

Елена Андреевна. Двадцать минут первого.

Пауза.

Серебряков. Утром поищи в библиотеке Батюшкова. Кажется, он есть у нас.

Елена Андреевна. А?

Серебряков. Поищи утром Батюшкова. Помнится, он был у нас. Но отчего мне так тяжело дышать?

Елена Андреевна. Ты устал. Вторую ночь не спишь.

Серебряков. Говорят, у Тургенева от подагры сделалась грудная жаба. Боюсь, как бы у меня не было. Проклятая, отвратительная старость. Черт бы ее побрал. Когда я постарел, я стал себе противен. Да и вам всем, должно быть, противно на меня смотреть.

Елена Андреевна. Ты говоришь о своей старости таким тоном, как будто все мы виноваты, что ты стар.

Серебряков. Тебе же первой я противен.

Елена Андреевна отходит и садится поодаль.

Конечно, ты права. Я неглуп и понимаю. Ты молода, здорова, красива, жить хочешь, а я старик, почти труп. Что ж? Разве я не понимаю? И, конечно, глупо, что я до сих пор жив. Но погодите, скоро я освобожу вас всех. Недолго мне еще придется тянуть.



Елена Андреевна. Я изнемогаю.. Бога ради, молчи.

Серебряков. Выходит так, что благодаря мне все изнемогли, скучают, губят свою молодость, один только я наслаждаюсь жизнью и доволен. Ну да, конечно!

Елена Андреевна. Замолчи! Ты меня замучил!

Серебряков. Я всех замучил. Конечно.

Елена Андреевна (сквозь слезы). Невыносимо. Скажи, что ты хочешь от меня?

Серебряков. Ничего.

Елена Андреевна. Ну, так замолчи. Я прошу.

Серебряков. Странное дело, заговорит Иван Петрович или эта старая идиотка, Марья Васильевна, – и ничего, все слушают, но скажи я хоть одно слово, как все начинают чувствовать себя несчастными. Даже голос мой противен. Ну, допустим, я противен, я эгоист, я деспот, но неужели я даже в старости не имею некоторого права на эгоизм? Неужели я не заслужил? Неужели же, я спрашиваю, я не имею права на покойную старость, на внимание к себе людей?

Елена Андреевна. Никто не оспаривает у тебя твоих прав.

Окно хлопает от ветра.

Ветер поднялся, я закрою окно. (Закрывает.) Сейчас будет дождь. Никто у тебя твоих прав не оспаривает.

Пауза; сторож в саду стучит и поет песню.

Серебряков. Всю жизнь работать для науки, привыкнуть к своему кабинету, к аудитории, к почтенным товарищам – и вдруг, ни с того ни с сего, очутиться в этом склепе, каждый день видеть тут глупых людей, слушать ничтожные разговоры.. Я хочу жить, я люблю успех, люблю известность, шум, а тут – как в ссылке. Каждую минуту тосковать о прошлом, следить за успехами других, бояться смерти.. Не могу! Нет сил! А тут еще не хотят простить мне моей старости!

Елена Андреевна. погоди, имей терпение: через пять-шесть лет и я буду стара.

Входит Соня.

Соня. Папа, ты сам приказал послать за доктором Астровым, а когда он приехал, ты отказываешься принять его. Это не деликатно. Только напрасно побеспокоили человека..

Серебряков. На что мне твой Астров? Он столько же понимает в медицине, как я в астрономии.

Соня. Не выписывать же сюда для твоей подагры целый медицинский факультет.

Серебряков. С этим юродивым я и разговаривать не стану.

Соня. Это как угодно. (Садится.) Мне все равно.

Серебряков. Который теперь час?

Елена Андреевна. Первый.

Серебряков. Душно.. Соня, дай мне со стола капли!

Соня. Сейчас. (Подает капли.)

Серебряков (раздраженно). Ах, да не эти! Ни о чем нельзя попросить!

Соня. Пожалуйста, не капризничай. Может быть, это некоторым и нравится, но меня избавь, сделай милость! Я этого не люблю. И мне некогда, мне нужно завтра рано вставать, у меня сенокос.

Входит Войницкий в халате и со свечой.

Войницкий. На дворе гроза собирается.

Молния.

Вона как! Нелёне и Соня, идите спать, я пришел вас сменить!

Серебряков (испуганно). Нет, нет! Не оставляйте меня с ним! Нет. Он меня заговорит!

Войницкий. Но надо же дать им покой! Они уже другую ночь не спят.

Серебряков. Пусть идут спать, но и ты уходи. Благодарю. Умоляю тебя. Во имя нашей прежней дружбы, не протестуй. После поговорим.

Войницкий (с усмешкой). Пржней нашей дружбы... Пржней...

Соня. Замолчи, дядя Ваня.

Серебряков (жене). Дорогая моя, не оставляй меня с ним! Он меня заговорит.

Войницкий. Это становится даже смешно.

Входит Марина со свечой.

Соня. Ты бы ложились, нянечка. Уже поздно.

Марина. Самовар со стола не убран. Не очень-то ляжешь.

Серебряков. Все не спят, изнемогают, один только я блаженствую.

Марина (подходит к Серебрякову, нежно). Что, батюшка? Больно? У меня у самой ноги гудут, так и гудут. (Поправляет плед.) Это у вас давняя болезнь. Вера Петровна, покойница, Сонечкина мать, бывало, ночи не спит, убивается... Очень уж она вас любила...

Пауза.

Старые что малые, хочется, чтобы пожалел кто, а старых-то никому не жалко. (Целует Серебрякова в плечо.) Пойдем, батюшка, в постель... Пойдем, светик... Я тебя липовым чаем напою, ножки твои согрею... Богу за тебя помолюсь...

Серебряков (растроганный). Пойдем, Марина.

Марина. У самой-то у меня ноги так и гудут, так и гудут! (Ведет его вместе с Соней.) Вера Петровна, бывало, все убивается, все плачет... Ты, Сонюшка, тогда была еще мала, глупа... Иди, иди, батюшка...

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
Серебряков, Соня и Марина уходят.

Елена Андреевна. Я замучилась с ним. Едва на ногах стою.

Войницкий. Вы с ним, а я с самим собою. Вот уже третью ночь не сплю.

Елена Андреевна. Неблагополучно в этом доме. Ваша мать ненавидит все, кроме своих брошюр и профессора; профессор раздражен, мне не верит, вас боится; Соня злится на отца, злится на меня и не говорит со мною вот уже две недели; вы ненавидите мужа и открыто презираете свою мать; я раздражена и сегодня раз двадцать принималась плакать... Неблагополучно в этом доме.

Войницкий. Оставим философию!

Елена Андреевна. Вы, Иван Петрович, образованны и умны и, кажется, должны бы понимать, что мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех этих мелких дрязг... Ваше бы дело не ворчать, а мирить всех.

Войницкий. Сначала помирите меня с самим собою! Дорогая моя... (Припадает к ее руке.)

Елена Андреевна. Оставьте! (Отнимает руку.) Уходите!

Войницкий. Сейчас пройдет дождь, и все в природе освежится и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза. Днем и ночью, точно домовой, душит меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлого нет, оно глупо израсходовано на пустяки, а настоящее ужасно по своей нелепости. Вот вам моя жизнь и моя любовь: куда мне их девать, что мне с ними делать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму, и сам я гибну.

Елена Андреевна. Когда вы мне говорите о своей любви, я как-то тупею и не знаю, что говорить. Простите, я ничего не могу сказать вам. (Хочет идти.) Спокойной ночи.

Войницкий (загораживая ей дорогу). И если бы вы знали, как я страдаю от мысли, что рядом со мною в этом же доме гибнет другая жизнь – ваша! Чего вы ждете? Какая проклятая философия мешает вам? Поймите же, поймите...

Елена Андреевна (пристально смотрит на него). Иван Петрович, вы пьяны!

Войницкий. Может быть, может быть...

Елена Андреевна. Где доктор?

Войницкий. Он там... у меня ночует. Может быть, может быть... Все может быть!

Елена Андреевна. И сегодня пили? К чему это?

Войницкий. Все-таки на жизнь похоже... Не мешайте мне, не!ène!

Елена Андреевна. Раньше вы никогда не пили, и никогда вы так много не говорили... Идите спать! Мне с вами скучно.

Войницкий (припадая к ее руке). Дорогая моя... чудная!

Елена Андреевна (с досадой). Оставьте меня. Это, наконец, противно. (Уходит.)

Войницкий (один). Ушла...

Пауза.

Десять лет тому назад я встречал ее у покойной сестры. Тогда ей было семнадцать, а мне тридцать семь лет. Отчего я тогда не влюбился в нее и не сделал ей предложения? Ведь это было так возможно! И была бы она теперь моею женой... Да... Теперь оба мы проснулись бы от грозы; она испугалась бы грома, а я держал бы ее

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

в своих объятиях и шептал: «Не бойся, я здесь». О, чудные мысли, как хорошо, я даже смеюсь... но, Боже мой, мысли путаются в голове... Зачем я стар? Зачем она меня не понимает? Ее риторика, ленивая мораль, вздорные, ленивые мысли о погибели мира – все это мне глубоко ненавистно.

Пауза.

О, как я обманут! Я обожаю этого профессора, этого жалкого подагрика, я работал на него как вол! Я и Соня выжимали из этого имения последние соки; мы, точно кулаки, торговали постным маслом, горохом, творогом, сами недоедали куска, чтобы из грошей и копеек собирать тысячи и посылать ему. Я гордился им и его наукой, я жил, я дышал им! Все, что он писал и изрекал, казалось мне гениальным... Боже, а теперь? Вот он в отставке, и теперь виден весь итог его жизни: после него не останется ни одной страницы труда, он совершенно неизвестен, он ничто! Мыльный пузырь! И я обманут... вижу, глупо обманут...

Входит Астров в сюртуке, без жилета и без галстука; он навеселе; за ним Телегин с гитарой.

Астров. Играй!

Телегин. Все спят-с!

Астров. Играй!

Телегин тихо наигрывает.

(Войницкому.) Ты один здесь? Дам нет? (Подбоченясь, тихо поет.) «Ходи, хата, ходи, печь, хозяину негде лечь...» А меня гроза разбудила. Важный дождик. Который теперь час?

Войницкий. А черт его знает.

Астров. Мне как будто бы послышался голос Елены Андреевны.

Войницкий. Сейчас она была здесь.

Астров. Роскошная женщина. (Осматривает склянки на столе.) Лекарства. Каких только тут нет рецептов! И харьковские, и московские, и тульские... Всем городам надоел своею подагрой. Он болен или притворяется?

Войницкий. Болен.

Пауза.

Астров. Что ты сегодня такой печальный? Профессора жаль, что ли?

Войницкий. Оставь меня.

Астров. А то, может быть, в профессоршу влюблен?

Войницкий. Она мой друг.

Астров. Уже?

Войницкий. Что значит это «уже»?

Астров. Женщина может быть другом мужчины лишь в такой последовательности: сначала приятель, потом любовница, а затем уж друг.

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
Войницкий. Пошляческая философия.

Астров. Как? Да... Надо сознаться – становлюсь пошляком. Видишь, я и пьян. Обыкновенно я напиваюсь так один раз в месяц. Когда бываю в таком состоянии, то становлюсь нахальным и наглым до крайности. Мне тогда все нипочем! Я берусь за самые трудные операции и делаю их прекрасно; я рисую самые широкие планы будущего; в это время я уже не кажусь себе чудаком и верю, что приношу человечеству громадную пользу... громадную! И в это время у меня своя собственная философская система, и все вы, братцы, представляетесь мне такими букашками... микробами. (Телегину.) Вафля, играй!

Телегин. Дружочек, я рад бы для тебя всю душой, но пойми же, – в доме спят!

Астров. Играй!

Телегин тихо наигрывает.

Выпить бы надо. Пойдем, там, кажется, у нас еще коньяк остался. А как рассветет, ко мне поедет. Идётся? У меня есть фельдшер, который никогда не скажет «идет», а «идётся». Мошенник страшный. Так идётся? (Увидев входящую Соню.) Извините, я без галстука. (Быстро уходит.)

Телегин идет за ним.

Соня. А ты, дядя Ваня, опять напился с доктором. Подружились ясные соколы. Ну, тот уж всегда такой, а ты-то с чего? В твои годы это совсем не к лицу.

Войницкий. Годы тут ни при чем. Когда нет настоящей жизни, то живут миражами. Все-таки лучше, чем ничего.

Соня. Сено у нас все скошено, идут каждый день дожди, все гниет, а ты занимаешься миражами. Ты совсем забросил хозяйство... Я работаю одна, совсем из сил выбилась... (Испуганно.) Дядя, у тебя на глазах слезы!

Войницкий. Какие слезы? Ничего нет... вздор... Ты сейчас взглянула на меня как покойная твоя мать. Милая моя... (Жадно целует ее руки и лицо.) Сестра моя... милая сестра моя... где она теперь? Если бы она знала! Ах, если бы она знала!

Соня. Что? Дядя, что знала?

Войницкий. Тяжело, нехорошо... Ничего... После... Ничего... Я уйду... (Уходит.)

Соня (стучит в дверь). Михаил Львович! Вы не спите? На минутку!

Астров (за дверью). Сейчас! (Немного погодя входит; он уже в жилетке и галстуке.) Что прикажете?

Соня. Сами вы пейте, если это вам не противно, но, умоляю, не давайте пить дяде. Ему вредно.

Астров. Хорошо. Мы не будем больше пить.

Пауза.

Я сейчас уеду к себе. Решено и подписано. Пока запрягут, будет уже рассвет.

Соня. Дождь идет. Погодите до утра.

Астров. Гроза идет мимо, только краем захватит. Поеду. И, пожалуйста, больше не приглашайте меня к вашему отцу. Я ему говорю – подагра, а он – ревматизм; я прошу лежать, он сидит. А сегодня так и вовсе не стал говорить со мною.

Соня. Избалован. (Ищет в буфете.) Хотите закусить?

Астров. Пожалуй, дайте.

Соня. Я люблю по ночам закусывать. В буфете, кажется, что-то есть. Он в жизни, говорят, имел большой успех у женщин, и его дамы избаловали. Вот берите сыр.

Оба стоят у буфета и едят.

Астров. Я сегодня ничего не ел, только пил. У вашего отца тяжелый характер. (Достает из буфета бутылку.) Можно? (Выпивает рюмку.) Здесь никого нет, и можно говорить прямо. Знаете, мне кажется, что в вашем доме я не выжил бы одного месяца, задохнулся бы в этом воздухе... Ваш отец, который весь ушел в свою подагру и в книги, дядя Ваня со своею хандрой, ваша бабушка, наконец ваша мачеха...

Соня. Что – мачеха?

Астров. В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Она прекрасна, спора нет[60], но... ведь она только ест, спит, гуляет, чарует всех нас своею красотой – и больше ничего. У нее нет никаких обязанностей, на нее работают другие... Ведь так? А праздная жизнь не может быть чистою.

Пауза.

Впрочем, быть может, я отношусь слишком строго. Я неудовлетворен жизнью, как ваш дядя Ваня, и оба мы становимся брюзгами.

Соня. А вы недовольны жизнью?

Астров. Вообще жизнь люблю, но нашу жизнь, уездную, русскую, обывательскую, терпеть не могу и презираю ее всеми силами моей души. А что касается моей собственной, личной жизни, то, ей-богу, в ней нет решительно ничего хорошего. Знаете, когда идешь темною ночью по лесу и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу... Я работаю, – вам это известно, – как никто в уезде, судьба бьет меня не переставая, порой страдаю я невыносимо, но у меня вдали нет огонька. Я для себя уже ничего не жду, не люблю людей... Давно уже никого не люблю.

Соня. Никого?

Астров. Никого. Некоторую нежность я чувствую только к вашей няньке – по старой памяти. Мужики однообразны очень, неразвиты, грязно живут, а с интеллигенцией трудно ладить. Она утомляет. Все они, наши добрые знакомые, мелко мыслят, мелко чувствуют и не видят дальше своего носа – просто-напросто глупы. А те, которые поумнее и покрупнее, истеричны, заедены анализом, рефлексом... Эти ноют, ненавистничают, болезненно клеветуют, подходят к человеку боком, смотрят на него искоса и решают: «О, это психопат!» или: «Это фразер!» А когда не знают, какой ярлык прилепить к моему лбу, то говорят: «Это странный человек, странный!» Я люблю лес – это странно; я не ем мясо – это тоже странно. Непосредственного, чистого, свободного отношения к природе и к людям уже нет... Нет и нет! (Хочет выпить.)

Соня (мешает ему). Нет, прошу вас, умоляю, не пейте больше.

Астров. Отчего?

Соня. Это так не идет к вам! Вы изящны, у вас такой нежный голос... Даже больше, вы, как никто из всех, кого я знаю, – вы прекрасны. Зачем же вы хотите походить на обыкновенных людей, которые пьют и играют в карты? О, не делайте этого, умоляю вас! Вы говорите всегда, что люди не творят, а только разрушают то, что им дано свыше. Зачем же, зачем вы разрушаете самого себя? Не надо, не надо, умоляю, заклинаю вас.

Астров (протягивает ей руку). Не буду больше пить.

Соня. Дайте мне слово.

Астров. Честное слово.

Соня (крепко пожимает руку). Благодарю!

Астров. Баста! Я отрезвел. Видите, я уже совсем трезв и таким останусь до конца дней моих. (Смотрит на часы.) Итак, будем продолжать. Я говорю: мое время уже ушло, поздно мне... Постарел, заработался, испошился, притупились все чувства, и, кажется, я уже не мог бы привязаться к человеку. Я никого не люблю и... уже не полюблю. Что меня еще захватывает, так это красота. Неравнодушен я к ней. Мне кажется, что если бы вот Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить мне голову в один день... Но ведь это не любовь, не привязанность... (Закрывает рукой глаза и вздрагивает.)

Соня. Что с вами?

Астров. Так... В Великом посту у меня больной умер под хлороформом.

Соня. Об этом пора забыть.

Пауза.

Скажите мне, Михаил Львович... Если бы у меня была подруга или младшая сестра и если бы вы узнали, что она... ну, положим, любит вас, то как бы вы отнеслись к этому?

Астров (пожав плечами). Не знаю. Должно быть, никак. Я дал бы ей понять, что полюбить ее не могу... да и не тем моя голова занята. Как-никак, а если ехать, то уже пора. Прощайте, голубушка, а то мы так до утра не кончим. (Пожимает руку.) Я пройду через гостиную, если позволите, а то боюсь, как бы ваш дядя меня не задержал. (Уходит.)

Соня (одна). Он ничего не сказал мне... Душа и сердце его все еще скрыты от меня, но отчего же я чувствую себя такую счастливую? (Смеется от счастья.) Я ему сказала: вы изящны, благородны, у вас такой нежный голос... Разве это вышло некстати? Голос его дрожит, ласкает... вот я чувствую его в воздухе. А когда я сказала ему про младшую сестру, он не понял... (Ломая руки.) О, как это ужасно, что я некрасива! Как ужасно! А я знаю, что я некрасива, знаю, знаю... В прошлое воскресенье, когда выходили из церкви, я слышала, как говорили про меня, и одна женщина сказала: «Она добрая, великодушная, но жаль, что она так некрасива...» Некрасива...

Входит Елена Андреевна.

Елена Андреевна (открывает окна). Прошла гроза. Какой хороший воздух!

Пауза.

Где доктор?

Соня. Ушел.

Пауза.

Елена Андреевна. Софи!

Соня. Что?

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Елена Андреевна. До каких пор вы будете дуться на меня? Друг другу мы не сделали никакого зла. Зачем же нам быть врагами? Полноте..

Соня. Я сама хотела... (Обнимает ее.) Довольно сердиться.

Елена Андреевна. И отлично.

Обе взволнованны.

Соня. Папа лег?

Елена Андреевна. Нет, сидит в гостиной... Не говорим мы друг с другом по целым неделям, и БОГ знает из-за чего... (Увидев, что буфет открыт.) Что это?

Соня. Михаил Львович ужинал.

Елена Андреевна. И вино есть... Давайте выпьем брудершафт.

Соня. Давайте.

Елена Андреевна. Из одной рюмочки... (Наливает.) Этак лучше. Ну, значит – ты?

Соня. Ты.

Пьют и целуются.

Я давно уже хотела мириться, да все как-то совестно было... (Плачет.)

Елена Андреевна. Что же ты плачешь?

Соня. Ничего, это я так.

Елена Андреевна. Ну, будет, будет... (Плачет.) Чудачка, и я заплакала...

Пауза.

Ты на меня сердита за то, что я будто вышла за твоего отца по расчету... Если веришь клятвам, то клянусь тебе, – я выходила за него по любви. Я увлеклась им как ученым и известным человеком. Любовь была ненастоящая, искусственная, но ведь мне казалось тогда, что она настоящая. Я не виновата. А ты с самой нашей свадьбы не переставала казнить меня своими умными подозрительными глазами.

Соня. Ну, мир, мир! Забудем.

Елена Андреевна. Не надо смотреть так – тебе это не идет. Надо всем верить, иначе жить нельзя.

Пауза.

Соня. Скажи мне по совести, как друг... Ты счастлива?

Елена Андреевна. Нет.

Соня. Я это знала. Еще один вопрос. Скажи откровенно, – ты хотела бы, чтобы у тебя был молодой муж?

Елена Андреевна. Какая ты еще девочка. Конечно, хотела бы. (Смеется.) Ну, спроси еще что-нибудь, спроси...

Соня. Тебе доктор нравится?



Елена Андреевна. Да, очень.

Соня (смеется). У меня глупое лицо... да? Вот он ушел, а я все слышу его голос и шаги, а посмотрю на темное окно – там мне представляется его лицо. Дай мне высказаться... Но я не могу говорить так громко, мне стыдно. Пойдем ко мне в комнату, там поговорим. Я тебе кажусь глупою? Сознайся... Скажи мне про него что-нибудь...

Елена Андреевна. Что же?

Соня. Он умный... Он все умеет, все может... Он и лечит, и сажает лес...

Елена Андреевна. Не в лесе и не в медицине дело... Милая моя, пойми, это талант! А ты знаешь, что значит талант? Смелость, свободная голова, широкий размах... Посадит деревцо и уже загадывает, что будет от этого через тысячу лет, уже мерещится ему счастье человечества. Такие люди редки, их нужно любить... Он пьет, бывает грубоват, – но что за беда? Талантливый человек в России не может быть чистеньким. Сама подумай, что за жизнь у этого доктора! Непролазная грязь на дорогах, морозы, метели, расстояния громадные, народ грубый, дикий, кругом нужда, болезни, а при такой обстановке тому, кто работает и борется изо дня в день, трудно сохранить себя к сорока годам чистеньким и трезвым... (Целует ее.) Я от души тебе желаю, ты стоишь счастья... (Встает.) А я нудная, эпизодическое лицо... И в музыке, и в доме мужа, во всех романах – везде, одним словом, я была только эпизодическим лицом. Собственно говоря, Соня, если вдуматься, то я очень, очень несчастна! (Ходит в волнении по сцене.) Нет мне счастья на этом свете. Нет! Что ты смеешься?

Соня (смеется, закрыв лицо). Я так счастлива... счастлива!

Елена Андреевна. Мне хочется играть... Я сыграла бы теперь что-нибудь.

Соня. Сыграй. (Обнимает ее.) Я не могу спать... Сыграй!

Елена Андреевна. Сейчас. Твой отец не спит. Когда он болен, его раздражает музыка. Поди спроси. Если он ничего, то сыграю. Поди.

Соня. Сейчас. (Уходит.)

В саду стучит сторож.

Елена Андреевна. Давно уже я не играла. Буду играть и плакать, плакать, как дура. (В окно.) Это ты стучишь, Ефим?

Голос сторожа: «Я!»

Елена Андреевна. Не стучи, барин нездоров.

Голос сторожа. «Сейчас уйду! (Подсвистывает.) Эй, вы, Жучка, мальчик! Жучка!»

Пауза.

Соня (вернувшись). Нельзя!

Занавес

Действие третье

Гостиная в доме Серебрякова. Три двери: направо, налево и посередине. День.

Войницкий, Соня (сидят) и Елена Андреевна (ходит по сцене, о чем-то думая).

Войницкий. Герр профессор изволил выразить желание, чтобы сегодня все мы собрались вот в этой гостиной к часу дня. (Смотрит на часы.) Без четверти час. Хочет о чем-то поведать миру.

Елена Андреевна. Вероятно, какое-нибудь дело.

Войницкий. Никаких у него нет дел. Пишет чепуху, брюзжит и ревнует, больше ничего.

Соня (тоном упрека). Дядя!

Войницкий. Ну, ну, виноват. (Указывает на Елену Андреевну.) Полюбуйтесь: ходит и от лени шатается. Очень мило! Очень!

Елена Андреевна. Вы целый день жужжите, все жужжите – как не надоест! (С тоской.) Я умираю от скуки, не знаю, что мне делать.

Соня (пожимая плечами). Мало ли дела? Только бы захотела.

Елена Андреевна. Например?

Соня. Хозяйством занимайся, учи, лечи. Мало ли? Вот когда тебя и папы здесь не было, мы с дядей Ваней сами ездили на базар мукой торговать.

Елена Андреевна. Не умею. Да и неинтересно. Это только в идейных романах учат и лечат мужиков, а как я ни с того ни с сего возьму вдруг и пойду их лечить или учить?

Соня. А вот я так не понимаю, как это не идти и не учить. Погоди, и ты привыкнешь. (Обнимает ее.) Не скучай, родная. (Смеется.) Ты скучаешь, не находишь себе места, а скука и праздность заразительны. Смотри: дядя Ваня ничего не делает и только ходит за тобою, как тень, я оставила свои дела и прибежала к тебе, чтобы поговорить. Обленилась, не могу! Доктор Михаил Львович прежде бывал у нас очень редко, раз в месяц, упросить его было трудно, а теперь он ездит сюда каждый день, бросил и свои леса, и медицину. Ты колдунья, должно быть.

Войницкий. Что томитесь? (Живо.) Ну, дорогая моя, роскошь, будьте умницей! В ваших жилах течет русалочья кровь, будьте же русалкой! Дайте себе волю хоть раз в жизни, влюбитесь поскорее в какого-нибудь водяного по самые уши – и бултых с головой в омут, чтобы герр профессор и все мы только руками развели!

Елена Андреевна (с гневом). Оставьте меня в покое! Как это жестоко! (Хочет уйти.)

Войницкий (не пускает ее). Ну, ну, моя радость, простите... Извиняюсь. (Целует руку.) Мир.

Елена Андреевна. У ангела не хватило бы терпения, согласитесь.

Войницкий. В знак мира и согласия я принесу сейчас букет роз; еще утром для вас приготовил...

Осенние розы – прелестные, грустные розы... (Уходит.)

Соня. Осенние розы – прелестные, грустные розы...

Обе смотрят в окно.

Елена Андреевна. Вот уже и сентябрь. Как-то мы проживем здесь зиму!

Пауза.

Где доктор?

Соня. В комнате у дяди Вани. Что-то пишет. Я рада, что дядя Ваня ушел, мне нужно поговорить с тобою.

Елена Андреевна. О чем?

Соня. О чем? (Кладет ей голову на грудь.)

Елена Андреевна. Ну, полно, полно... (Приглаживает ей волосы.) Полно.

Соня. Я некрасива.

Елена Андреевна. У тебя прекрасные волосы.

Соня. Нет! (Оглядывается, чтобы взглянуть на себя в зеркало.) Нет! Когда женщина некрасива, то ей говорят: «У вас прекрасные глаза, у вас прекрасные волосы...» Я его люблю уже шесть лет, люблю больше, чем свою мать; я каждую минуту слышу его, чувствую пожатие его руки; и я смотрю на дверь, жду, мне все кажется, что он сейчас войдет. И вот, ты видишь, я все прихожу к тебе, чтобы поговорить о нем. Теперь он бывает здесь каждый день, но не смотрит на меня, не видит... Это такое страдание! У меня нет никакой надежды, нет, нет! (В отчаянии.) О Боже, пошли мне силы... Я всю ночь молилась... Я часто подхожу к нему, сама заговариваю с ним, смотрю ему в глаза... У меня уже нет гордости, нет сил владеть собою... Не удержалась и вчера призналась дяде Ване, что люблю... И вся прислуга знает, что я его люблю. Все знают.

Елена Андреевна. А он?

Соня. Нет. Он меня не замечает.

Елена Андреевна (в раздумье). Станный он человек... Знаешь что? Позволь, я поговорю с ним... Я осторожно, намеками...

Пауза.

Право, до каких же пор быть в неизвестности... Позволь!

Соня утвердительно кивает головой.

И прекрасно. Любит или не любит – это нетрудно узнать. Ты не смущайся, голубка, не беспокойся, – я допрошу его осторожно, он и не заметит. Нам только узнать: да или нет?

Пауза.

Если нет, то пусть не бывает здесь. Так?

Соня утвердительно кивает головой.

Легче, когда не видишь. Откладывать в долгий ящик не будем, допросим его теперь же. Он собирался показать мне какие-то чертежи... Поди скажи, я желаю его видеть.

Соня (в сильном волнении). Ты мне скажешь всю правду?

Елена Андреевна. Да, конечно. Мне кажется, что правда, какая бы она ни была, все-таки не так страшна, как неизвестность. Положись на меня, голубка.

Соня. Да... да... Я скажу, что ты хочешь видеть его чертежи... (Идет и останавливается возле двери.) Нет, неизвестность лучше... Все-таки надежда...

Елена Андреевна. Что ты?

Соня. Ничего. (Уходит.)

Елена Андреевна (одна). Нет ничего хуже, когда знаешь чужую тайну и не можешь помочь. (Раздумывая.) Он не влюблен в нее – это ясно, но отчего бы ему не жениться на ней? Она некрасива, но для деревенского доктора, в его годы, это была бы прекрасная жена. Умница, такая добрая, чистая... Нет, это не то, не то...

Пауза.

я понимаю эту бедную девочку. Среди отчаянной скуки, когда вместо людей кругом бродят какие-то серые пятна, слышатся одни пошлости, когда только и знают, что едят, пьют, спят, иногда приезжает он, непохожий на других, красивый, интересный, увлекательный, точно среди потемок восходит месяц ясный... Поддаться обаянию такого человека, забыться... Кажется, я сама увлеклась немножко. Да, мне без него скучно, я вот улыбаюсь, когда думаю о нем... Этот дядя Ваня говорит, будто в моих жилах течет русалочья кровь. «Дайте себе волю хоть раз в жизни...» Что ж? Может быть, так и нужно... Улететь бы вольною птицей от всех вас, от ваших сонных физиономий, от разговоров, забыть, что все вы существуете на свете... Но я труслива, застенчива... Меня замучит совесть... Вот он бывает здесь каждый день, я угадываю, зачем он здесь, и уже чувствую себя виноватой, готова пасть перед Соней на колени, извиняться, плакать...

Астров (входит с картограммой). Добрый день! (Пожимает руку.) Вы хотели видеть мою живопись?

Елена Андреевна. Вчера вы обещали показать мне свои работы... Вы свободны?

Астров. О, конечно. (Растягивает на ломберном столе картограмму и укрепляет ее кнопками.) Вы где родились?

Елена Андреевна (помогая ему). В Петербурге.

Астров. А получили образование?

Елена Андреевна. В консерватории.

Астров. Для вас, пожалуй, это неинтересно.

Елена Андреевна. Почему? Я, правда, деревни не знаю, но я много читала.

Астров. Здесь в доме есть мой собственный стол... В комнате у Ивана Петровича. Когда я утомлюсь совершенно, до полного отупения, то все бросаю и бегу сюда и вот забавляюсь этой штукой час-другой... Иван Петрович и Софья Александровна щелкают на счетах, а я сижу подле них за своим столом и мажу, и мне тепло, покойно, и сверчок кричит. Но это удовольствие я позволяю себе не часто, раз в месяц... (Показывая на картограмме.) Теперь смотрите сюда. Картина нашего уезда, каким он был пятьдесят лет назад. Темно- и светло-зеленая краска означает леса; половина всей площади занята лесом. Где по зелени положена красная сетка, там водились лоси, козы... Я показываю тут и флору и фауну. На этом озере жили лебеди, гуси, утки, и, как говорят старики, птицы всякой была сила, видимо-невидимо: носилась она тучей. Кроме сел и деревень, видите, там и сям разбросаны разные выселки, хуторочки, раскольничьи скиты, водяные мельницы... Рогатого скота и лошадей было много. По голубой краске видно. Например, в этой волости голубая краска легла густо; тут были целые табуны, и на каждый двор приходилось по три лошади.

Пауза.

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Теперь посмотрим ниже. То, что было двадцать пять лет назад. Тут уж под лесом только одна треть всей площади. Коз уже нет, но лоси есть. Зеленая и голубая краски уже бледнее. И так далее, и так далее. Переходим к третьей части: картина уезда в настоящем. Зеленая краска лежит кое-где, но не сплошь, а пятнами; исчезли и лоси, и лебеди, и глухари... От прежних выселков, хуторков, скитов, мельниц и следа нет. В общем, картина постепенного и несомненного вырождения, которому, по-видимому, остается еще каких-нибудь десять – пятнадцать лет, чтобы стать полным. Вы скажете, что тут культурные влияния, что старая жизнь, естественно, должна была уступить место новой. Да, я понимаю, если бы на месте этих истребленных лесов пролегли шоссе, железные дороги, если бы тут были заводы, фабрики, школы – народ стал бы здоровее, богаче, умнее, но ведь тут ничего подобного! В уезде те же болота, комары, то же бездорожье, нищета, тиф, дифтерит, пожары... Тут мы имеем дело с вырождением вследствие непосильной борьбы за существование; это вырождение от косности, от невежества, от полнейшего отсутствия самосознания, когда озябший, голодный, больной человек, чтобы спасти остатки жизни, чтобы сберечь своих детей, инстинктивно, бессознательно хватается за все, чем только можно утолить голод, согреться, разрушает все, не думая о завтрашнем дне... Разрушено уже почти все, но взамен не создано еще ничего. (Холодно.) Я по лицу вижу, что это вам неинтересно.

Елена Андреевна. Но я в этом так мало понимаю...

Астров. И понимать тут нечего, просто неинтересно.

Елена Андреевна. Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Простите. Мне нужно сделать вам маленький допрос, и я смущена, не знаю, как начать.

Астров. Допрос?

Елена Андреевна. Да, допрос, но... довольно невинный. Сядем!

Садятся.

Дело касается одной молодой особы. Мы будем говорить, как честные люди, как приятели, без обиняков. Поговорим и забудем, о чем была речь. Да?

Астров. Да.

Елена Андреевна. Дело касается моей падчерицы Сони. Она вам нравится?

Астров. Да, я ее уважаю.

Елена Андреевна. Она вам нравится как женщина?

Астров (не сразу). Нет.

Елена Андреевна. Еще два-три слова – и конец. Вы ничего не замечали?

Астров. Ничего.

Елена Андреевна (берет его за руку). Вы не любите ее, по глазам вижу... Она страдает... Поймите это и... перестаньте бывать здесь.

Астров (встает). Время мое уже ушло... Да и некогда... (Пожав плечами.) Когда мне? (Он смущен.)

Елена Андреевна. Фу, какой неприятный разговор! Я так волнуюсь, точно протащила на себе тысячу пудов. Ну, слава Богу, кончили. Забудем, будто не говорили вовсе, и... и уезжайте. Вы умный человек, поймете...

Пауза.

Я даже красная вся стала.

Астров. Если бы вы сказали месяц-два назад, то я, пожалуй, еще подумал бы, но теперь... (Пожимает плечами.) А если она страдает, то, конечно... Только одного не понимаю: зачем вам понадобился этот допрос? (Глядит ей в глаза и грозит пальцем.) Вы – хитрая!

Елена Андреевна. Что это значит?

Астров (смеясь). Хитрая! Положим, Соня страдает, я охотно допускаю, но к чему этот ваш допрос? (Мешая ей говорить, живо.) Позвольте, не делайте удивленного лица, вы отлично знаете, зачем я бываю здесь каждый день... Зачем и ради кого бываю, это вы отлично знаете. Хищница милая, не смотрите на меня так, я старый воробей...

Елена Андреевна (в недоумении). Хищница? Ничего не понимаю.

Астров. Красивый, пушистый хорек... Вам нужны жертвы! Вот я уже целый месяц ничего не делаю, бросил все, жадно ищу вас – и это вам ужасно нравится, ужасно... Ну, что ж? Я побежден, вы это знали и без допроса. (Скрестив руки и нагнув голову.) Покоряюсь, нате, ешьте!

Елена Андреевна. Вы с ума сошли!

Астров (смеется сквозь зубы). Вы застенчивы...

Елена Андреевна. О, я лучше и выше, чем вы думаете! Клянусь вам! (Хочет уйти.)

Астров (загораживая ей дорогу). Я сегодня уеду, бывать здесь не буду, но... (Берет ее за руку, оглядывается.) Где мы будем видеться? Говорите скорее: где? Сюда могут войти, говорите скорее. (Страстно.) Какая чудная, роскошная... Один поцелуй... Мне поцеловать только ваши ароматные волосы...

Елена Андреевна. Клянусь вам...

Астров (мешая ей говорить). Зачем клясться? Не надо клясться. Не надо лишних слов... О, какая красивая! Какие руки! (Целует руки.)

Елена Андреевна. Но довольно, наконец... уходите... (Отнимает руки.) Вы забылись.

Астров. Говорите же, говорите, где мы завтра увидимся? (Берет ее за талию.) Ты видишь, это неизбежно, нам надо видеться. (Целует ее.)

В это время входит Войницкий с букетом роз и останавливается у двери.

Елена Андреевна (не видя Войницкого). Пощадите... оставьте меня... (Кладет Астрову голову на грудь.) Нет! (Хочет уйти.)

Астров (удерживая ее за талию). Приезжай завтра в лесничество... часам к двум... Да? Да? Ты приедешь?

Елена Андреевна (увидев Войницкого). Пустите! (В сильном смущении отходит к окну.) Это ужасно.

Войницкий (кладет букет на стул; волнуясь, вытирает платком лицо и за воротником). Ничего... Да... Ничего...

Астров (будуруя). Сегодня, многоуважаемый Иван Петрович, погода недурна. Утром было пасмурно, словно как бы на дождь, а теперь солнце. Говоря по совести, осень выдалась прекрасная... и озими ничего себе. (Свертывает картограмму в трубку.) Вот только что: дни коротки стали... (Уходит.)

Елена Андреевна (быстро подходит к Войницкому). Вы постараетесь, вы употребите все ваше влияние, чтобы я и муж уехали отсюда сегодня же! Слышите? Сегодня же!

Войницкий (вытирая лицо). А? Ну да... хорошо... я, нѐ!ѐне, все видел, все...

Елена Андреевна (нервно). Слышите? Я должна уехать отсюда сегодня же!

Входят Серебряков, Соня, Телегин и Марина.

Телегин. Я сам, ваше превосходительство, что-то не совсем здоров. Вот уже два дня хвораю. Голова что-то того...

Серебряков. Где же остальные? Не люблю я этого дома. Какой-то лабиринт. Двадцать шесть громадных комнат, разбредутся все, и никого никогда не найдешь. (Звонит.) Пригласите сюда Марью Васильевну и Елену Андреевну!

Елена Андреевна. Я здесь.

Серебряков. Прошу, господа, садиться.

Соня (подойдя к Елене Андреевне, нетерпеливо). Что он сказал?

Елена Андреевна. После.

Соня. Ты дрожишь? Ты взволнована? (Пытливо всматривается в ее лицо.) Я понимаю... Он сказал, что уже больше не будет бывать здесь... да?

Пауза.

Скажи: да?

Елена Андреевна утвердительно кивает головой.

Серебряков (Телегину). С нездоровьем еще можно мириться, куда ни шло, но чего я не могу переварить, так это строя деревенской жизни. У меня такое чувство, как будто я с земли свалился на какую-то чужую планету. Садитесь, господа, прошу вас. Соня!

Соня не слышит его, она стоит, печально опустив голову.

Соня!

Пауза.

Не слышит. (Марине.) И ты, няня, садись.

Няня садится и вяжет чулок.

Прошу, господа. Повесьте, так сказать, ваши уши на гвоздь внимания. (Смеется.)

Войницкий (волнуясь). Я, быть может, не нужен? Могу уйти?

Серебряков. Нет, ты здесь нужнее всех.

Войницкий. Что вам от меня угодно?

Серебряков. Вам... Что же ты сердишься?

Пауза.

Если я в чем виноват перед тобою, то извини, пожалуйста.

Войницкий. Оставь этот тон. Приступим к делу... Что тебе нужно?

Входит Мария Васильевна.

Серебряков. Вот и тапан. Я начинаю, господа.

Пауза.

Я пригласил вас, господа[61], чтобы объявить вам, что к нам едет ревизор. Впрочем, шутки в сторону. Дело серьезное. Я, господа, собрал вас, чтобы попросить у вас помощи и совета, и, зная всегдашнюю вашу любезность, надеюсь, что получу их. Человек я ученый, книжный и всегда был чужд практической жизни. Обойтись без указаний сведущих людей я не могу и прошу тебя, Иван Петрович, вот вас, Илья Ильич, вас, тапан... Дело в том, что *manet omnes una pox*[62], то есть все мы под БОГОМ ходим; я стар, болен и потому нахожу своевременным регулировать свои имущественные отношения постольку, поскольку они касаются моей семьи. Жизнь моя уже кончена, о себе я не думаю, но у меня молодая жена, дочь-девушка.

Пауза.

Продолжать жить в деревне мне невозможно. Мы для деревни не созданы. Жить же в городе на те средства, какие мы получаем от этого имения, невозможно. Если продать, положим, лес, то это мера экстраординарная, которую нельзя пользоваться ежегодно. Нужно изыскать такие меры, которые гарантировали бы нам постоянную, более или менее определенную цифру дохода. Я придумал одну такую меру и имею честь предложить ее на ваше обсуждение. Миную детали, изложу ее в общих чертах. Наше имение дает в среднем размере не более двух процентов. Я предлагаю продать его. Если вырученные деньги мы обратим в процентные бумаги, то будем получать от четырех до пяти процентов, и я думаю, что будет даже излишек в несколько тысяч, который нам позволит купить в Финляндии небольшую дачу.

Войницкий. Постой... Мне кажется, что мне изменяет мой слух. Повтори, что ты сказал.

Серебряков. Деньги обратить в процентные бумаги и на излишек, какой останется, купить дачу в Финляндии.

Войницкий. Не Финляндия... Ты еще что-то другое сказал.

Серебряков. Я предлагаю продать имение.

Войницкий. Вот это самое. Ты продашь имение, превосходно, богатая идея... А куда прикажешь деваться мне со старухой матерью и вот с Соней?

Серебряков. Все это своевременно мы обсудим. Не сразу же.

Войницкий. Постой. Очевидно, до сих пор у меня не было ни капли здравого смысла. До сих пор я имел глупость думать, что это имение принадлежит Соне. Мой покойный отец купил это имение в приданое для моей сестры. До сих пор я был наивен, понимал законы не по-турецки и думал, что имение от сестры перешло к Соне.

Серебряков. Да, имение принадлежит Соне. Кто спорит? Без согласия Сони я не решусь продать его. К тому же я предлагаю сделать это для блага Сони.

Войницкий. Это непостижимо, непостижимо! Или я с ума сошел, или... или...

Мария Васильевна. Жан, не противоречь Александру. Верь, он лучше нас знает, что хорошо и что дурно.



Войницкий. Нет, дайте мне воды. (Пьет воду.) Говорите что хотите, что хотите!

Серебряков. Я не понимаю, отчего ты волнуешься. Я не говорю, что мой проект идеален. Если все найдут его негодным, то я не буду настаивать.

Пауза.

Телегин (в смущении). Я, ваше превосходительство, питаю к науке не только благоговение, но и родственные чувства. Брата моего Григория Ильича жены брат, может, изволите знать, Константин Трофимович Лакедемонов, был магистром...

Войницкий. Постой, Вафля, мы о деле... Погоди, после... (Серебрякову.) Вот спроси ты у него. Это имение куплено у его дяди.

Серебряков. Ах, зачем мне спрашивать? К чему?

Войницкий. Это имение было куплено по тогдашнему времени за девяносто пять тысяч. Отец уплатил только семьдесят, и осталось долгу двадцать пять тысяч. Теперь слушайте... Имение это не было бы куплено, если бы я не отказался от наследства в пользу сестры, которую горячо любил. Мало того, я десять лет работал как вол и выплатил весь долг...

Серебряков. Я жалею, что начал этот разговор.

Войницкий. Имение чисто от долгов и не расстроено только благодаря моим личным усилиям. И вот когда я стал стар, меня хотят выгнать отсюда в шею!

Серебряков. Я не понимаю, чего ты добиваешься!

Войницкий. Двадцать пять лет я управлял этим имением, работал, высылал тебе деньги, как самый добросовестный приказчик, и за все время ты ни разу не поблагодарил меня. Все время – и в молодости и теперь – я получал от тебя жалованья пятьсот рублей в год – нищенские деньги! – и ты ни разу не догадался прибавить мне хоть один рубль!

Серебряков. Иван Петрович, почему же я знал? Я человек не практический и ничего не понимаю. Ты мог бы сам прибавить себе сколько угодно.

Войницкий. Зачем я не крал? Отчего вы все не презираете меня за то, что я не крал? Это было бы справедливо, и теперь я не был бы нищим!

Мария Васильевна (строго). Жан!

Телегин (волнуясь). Ваня, дружок, не надо, не надо... я дрожу... Зачем портить хорошие отношения? (Целует его.) Не надо.

Войницкий. Двадцать пять лет я вот с этой матерью, как крот, сидел в четырех стенах... Все наши мысли и чувства принадлежали тебе одному. Днем мы говорили о тебе, о твоих работах, гордились тобою, с благоговением произносили твое имя; ночи мы губили на то, что читали журналы и книги, которые я теперь глубоко презираю!

Телегин. Не надо, Ваня, не надо... Не могу...

Серебряков (гневно). Не понимаю, что тебе нужно?

Войницкий. Ты для нас был существом высшего порядка, а твои статьи мы знали наизусть... Но теперь у меня открылись глаза! Я все вижу! Пишешь ты об искусстве, но ничего не понимаешь в искусстве! Все твои работы, которые я любил, не стоят гроша медного! Ты морочил нас!

Серебряков. Господа! Да уймите же его наконец! Я уйду!

Елена Андреевна. Иван Петрович, я требую, чтобы вы замолчали! Слышите?

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru

Войницкий. Не замолчу! (Загораживая Серебрякову дорогу.) Постой, я не кончил! Ты погубил мою жизнь! Я не жил, не жил! По твоей милости я истребил, уничтожил лучшие годы своей жизни! Ты мой злейший враг!

Телегин. Я не могу... не могу... Я уйду... (В сильном волнении уходит.)

Серебряков. Что ты хочешь от меня? И какое ты имеешь право говорить со мною таким тоном? Ничтожество! Если имение твое, то бери его, я не нуждаюсь в нем!

Елена Андреевна. Я сию же минуту уезжаю из этого ада! (Кричит.) Я не могу дольше выносить!

Войницкий. Пропала жизнь! Я талантлив, умен, смел... Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский... Я зарпортовался! Я с ума схожу... Матушка, я в отчаянии! Матушка!

Мария Васильевна (строго). Слушайся Александра!

Соня (становится перед няней на колени и прижимается к ней). Нянечка! Нянечка!

Войницкий. Матушка! Что мне делать? Не нужно, не говорите! Я сам знаю, что мне делать! (Серебрякову.) Будешь ты меня помнить! (Уходит в среднюю дверь.)

Мария Васильевна идет за ним.

Серебряков. Господа, что же это такое, наконец? Уберите от меня этого сумасшедшего! Не могу я жить с ним под одною крышей! Живет тут (указывает на среднюю дверь), почти рядом со мною... Пусть перебирается в деревню, во флигель, или я переберусь отсюда, но оставаться с ним в одном доме я не могу...

Елена Андреевна (мужу). Мы сегодня уедем отсюда! Необходимо распорядиться сию же минуту.

Серебряков. Ничтожнейший человек!

Соня (стоя на коленях, оборачивается к отцу; нервно, сквозь слезы). Надо быть милосердным, папа! Я и дядя Ваня так несчастны! (Сдерживая отчаяние.) Надо быть милосердным! Вспомни, когда ты был помоложе, дядя Ваня и бабушка по ночам переводили для тебя книги, переписывали твои бумаги... все ночи, все ночи! Я и дядя Ваня работали без отдыха, боялись потратить на себя копейку и все посылали тебе... Мы не ели даром хлеба! Я говорю не то, не то я говорю, но ты должен понять нас, папа. Надо быть милосердным!

Елена Андреевна (взволнованная, мужу). Александр, ради Бога, объяснись с ним... Умоляю.

Серебряков. Хорошо, я объяснюсь с ним... Я ни в чем его не обвиняю, я не сержусь, но, согласитесь, поведение его по меньшей мере странно. Извольте, я пойду к нему. (Уходит в среднюю дверь.)

Елена Андреевна. Будь с ним помягче, успокой его... (Уходит за ним.)

Соня (прижимаясь к няне). Нянечка! Нянечка!

Марина. Ничего, деточка. Попогочут гусаки – и перестанут... Попогочут – и перестанут...

Соня. Нянечка!

Марина (гладит ее по голове). Дрожишь, словно в мороз! Ну, ну, сиротка, Бог милостив. Липового чайку или малинки, оно и пройдет... Не горюй, сиротка... (Глядя на среднюю дверь, с сердцем.) Ишь расходились гусаки, чтоб вам пусто!

За сценой выстрел; слышно, как вскрикивает Елена Андреевна; Соня вздрагивает.

У, чтоб тебя!

Серебряков (вбегает, пошатываясь от испуга). Удержите его! Удержите! Он сошел с ума!

Елена Андреевна и Войницкий борются в дверях.

Елена Андреевна (стараясь отнять у него револьвер). Отдайте! Отдайте, вам говорят!

Войницкий. Пустите, нѣтѣ! Пустите меня! (Освободившись, вбегает и ищет глазами Серебрякова.) Где он? А, вот он! (Стреляет в него.) Бац!

Пауза.

Не попал? Опять промах?! (С гневом.) А, черт, черт... черт бы побрал... (Бьет револьвером об пол и в изнеможении садится на стул.)

Серебряков ошеломлен; Елена Андреевна прислонилась к стене, ей дурно.

Елена Андреевна. Увезите меня отсюда! Увезите, убейте, но... я не могу здесь оставаться, не могу!

Войницкий (в отчаянии). О, что я делаю! Что я делаю!

Соня (тихо). Нянечка! Нянечка!

Занавес

Действие четвертое

Комната Ивана Петровича; тут его спальня, тут же и контора имения. У окна большой стол с приходо-расходными книгами и бумагами всякого рода, конторка, шкапы, весы. Стол поменьше для Астрова; на этом столе принадлежности для рисования, краски; возле – папка. Клетка со скворцом. На стене карта Африки, видимо никому здесь не нужная. Громадный диван, обитый клеенкой. Налево – дверь, ведущая в покои; направо – дверь в сени; подле правой двери положен половик, чтобы не нагрязнили мужики.

Осенний вечер. Тишина.

Телегин и Марина (сидят друг против друга и мотают чулочную шерсть).

Телегин. Вы скорее, Марина Тимофеевна, а то сейчас позовут прощаться. Уже приказали лошадей подавать.

Марина (старается мотать быстрее). Немного осталось.

Телегин. В Харьков уезжают. Там жить будут.

Марина. И лучше.

Телегин. Напужались... Елена Андреевна «одного часа, говорит, не желаю жить здесь... уедем да уедем... Поживем, говорит, в Харькове, оглядимся и тогда за вещами пришьем...» Належке уезжают. Значит, Марина Тимофеевна, не судьба им жить тут. Не судьба... фатальное предопределение.

Марина. И лучше. Давеча подняли шум, пальбу – срам один!

Телегин. Да, сюжет, достойный кисти Айвазовского.

Марина. Глаза бы мои не глядели.

Пауза.

Опять заживем, как было, по-старому. Утром в восьмом часу чай, в первом часу обед, вечером – ужинать садиться; все своим порядком, как у людей... по-христиански. (Со вздохом.) Давно уже я, грешница, лапши не ела.

Телегин. Да, давненько у нас лапши не готовили.

Пауза.

Давненько... Сегодня утром, Марина Тимофеевна, иду я деревней, а лавочник мне вслед: «Эй ты, приживал!» И так мне горько стало!

Марина. А ты без внимания, батюшка. Все мы у Бога приживалы. Как ты, как Соня, как Иван Петрович – никто без дела не сидит, все трудимся! Все... Где Соня?

Телегин. В саду. С доктором все ходит, Ивана Петровича ищет. Боятся, как бы он на себя рук не наложил.

Марина. А где его пистолет?

Телегин (шепотом). Я в погребе спрятал!

Марина (с усмешкой). Грехи!

Входят со двора Войницкий и Астров.

Войницкий. Оставь меня. (Марине и Телегину.) Уйдите отсюда, оставьте меня одного хоть на один час! Я не терплю опеки.

Телегин. Сию минуту, Ваня. (Уходит на цыпочках.)

Марина. Гусак: го-го-го! (Собирает шерсть и уходит.)

Войницкий. Оставь меня!

Астров. С большим удовольствием, мне давно уже нужно уехать отсюда, но, повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь того, что взял у меня.

Войницкий. Я у тебя ничего не брал.

Астров. Серьезно говорю – не задерживай. Мне давно уже пора ехать.

Войницкий. Ничего я у тебя не брал.

Оба садятся.

Астров. Да? Что ж, погожу еще немного, а потом, извини, придется употребить насилие. Свяжем тебя и обыщем. Говорю это совершенно серьезно.

Войницкий. Как угодно.

Пауза.

Разыграть такого дурака: стрелять два раза и ни разу не попасть! Этого я себе никогда не прощу!

Астров. Пришла охота стрелять, ну и палил бы в лоб себе самому.

Войницкий (пожав плечами). Странно. Я покушался на убийство, а меня не арестовывают, не отдают под суд. Значит, считают меня сумасшедшим. (Злой смех.) Я – сумасшедший, а не сумасшедшие те, которые под личиной профессора, ученого мага, прячут свою бездарность, тупость, свое вопиющее бессердечие. Не сумасшедшие те, которые выходят за стариков и потом у всех на глазах обманывают их. Я видел, видел, как ты обнимал ее!

Астров. Да-с, обнимал-с, а тебе вот. (Делает нос.)

Войницкий (глядя на дверь). Нет, сумасшедшая земля, которая еще держит вас!

Астров. Ну и глупо.

Войницкий. Что ж, я – сумасшедший, невменяем, я имею право говорить глупости.

Астров. Стара шутка. Ты не сумасшедший, а просто чудак. Шут гороховый. Прежде и я всякого чудака считал больным, ненормальным, а теперь я такого мнения, что нормальное состояние человека – это быть чудаком. Ты вполне нормален.

Войницкий (закрывает лицо руками). стыдно! Если бы ты знал, как мне стыдно! Это острое чувство стыда не может сравниться ни с какой болью. (С тоской.) Невыносимо! (Склоняется к столу.) Что мне делать? Что мне делать?

Астров. Ничего.

Войницкий. Дай мне чего-нибудь! О Боже мой... Мне сорок семь лет; если, положим, я проживу до шестидесяти, то мне остается еще тринадцать. Долго! Как я проживу эти тринадцать лет? Что буду делать, чем наполню их? О, понимаешь... (судорожно жмет Астрову руку) понимаешь, если бы можно было прожить остаток жизни как-нибудь по-новому. Проснуться бы в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что все прошлое забыто, рассеялось, как дым. (Плачет.) Начать новую жизнь... Подскажи мне, как начать... с чего начать...

Астров (с досадой). Э, ну тебя! Какая еще там новая жизнь! Наше положение, твое и мое, безнадежно.

Войницкий. Да?

Астров. Я убежден в этом.

Войницкий. Дай мне чего-нибудь... (Показывает на сердце.) Жжет здесь.

Астров (кричит сердито). Перестань! (Смягчившись.) Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, – те, быть может, найдут средство, как быть счастливыми, а мы... У нас с тобою только одна надежда и есть. Надежда, что когда мы будем почивать в своих гробах, то нас посетят видения, быть может, даже приятные. (Вздыхнув.) Да, брат. Во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных человека: я да ты. Но в какие-нибудь десять лет жизнь обывательская, жизнь презренная затянула нас; она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как все. (Живо.) Но ты мне зубов не заговаривай, однако. Ты отдай то, что взял у меня.

Войницкий. Я у тебя ничего не брал.

Астров. Ты взял у меня из дорожной аптеки баночку с морфием.

Пауза.

Послушай, если тебе во что бы то ни стало хочется покончить с собою, то ступай в лес и застрелись там. Морфий же отдай, а то пойдут разговоры, догадки, подумают, что это я тебе дал... С меня же довольно и того, что мне придется вскрывать тебя... Ты думаешь, это интересно?

Входит Соня.

Войницкий. Оставь меня!

Астров (Соне). Софья Александровна, ваш дядя утащил из моей аптеки баночку с морфием и не отдает. Скажите ему, что это... не умно, наконец. Да и некогда мне. Мне пора ехать.

Соня. Дядя Ваня, ты взял морфий?

Пауза.

Астров. Он взял. Я в этом уверен.

Соня. Отдай. Зачем ты нас пугаешь? (Нежно.) Отдай, дядя Ваня! Я, быть может, несчастна не меньше твоего, однако же не прихожу в отчаяние. Я терплю и буду терпеть, пока жизнь моя не окончится сама собою... Терпи и ты.

Пауза.

Отдай! (Целует ему руки.) Дорогой, славный дядя, милый, отдай! (Плачет.) Ты добрый, ты пожалеешь нас и отдашь. Терпи, дядя! Терпи!

Войницкий (достает из стола баночку и подает ее Астрову). На, возьми! (Соне.) Но надо скорее работать, скорее делать что-нибудь, а то не могу... не могу...

Соня. Да, да, работать. Как только проводим наших, сядем работать... (Нервно перебирает на столе бумаги.) У нас все запущено.

Астров (кладет баночку в аптеку и затягивает ремни). Теперь можно и в путь.

Елена Андреевна (входит). Иван Петрович, вы здесь? Мы сейчас уезжаем... Идите к Александру, он хочет что-то сказать вам.

Соня. Иди, дядя Ваня. (Берет Войницкого под руку.) Пойдем. Папа и ты должны помириться. Это необходимо.

Соня и Войницкий уходят.

Елена Андреевна. Я уезжаю. (Подает Астрову руку.) Прощайте.

Астров. Уже?

Елена Андреевна. Лошади уже поданы.

Астров. Прощайте.

Елена Андреевна. Сегодня вы обещали мне, что уедете отсюда.

Астров. Я помню. Сейчас уеду.

Пауза.

Испугались? (Берет ее за руку.) Разве это так страшно?

Елена Андреевна. Да.

Астров. А то остались бы! А? Завтра в лесничестве...

Елена Андреевна. Нет... Уже решено. И потому я гляжу на вас так храбро, что уже решен отъезд... Я об одном вас прошу: думайте обо мне лучше. Мне хочется, чтобы вы меня уважали.

Астров. Э! (Жест нетерпения.) Оставайтесь, прошу вас. Сознайтесь, делать вам на этом свете нечего, цели жизни у вас никакой, занять вам своего внимания нечем, и, рано или поздно, все равно поддадитесь чувству, – это неизбежно. Так уж лучше это не в Харькове и не где-нибудь в Курске, а здесь, на лоне природы... Поэтично по крайней мере, даже очень красиво... Здесь есть лесничество, полуразрушенные усадьбы во вкусе Тургенева...

Елена Андреевна. Какой вы смешной... Я сердита на вас, но все же... буду вспоминать о вас с удовольствием. Вы интересный, оригинальный человек. Больше мы с вами уже никогда не увидимся, а потому – зачем скрывать? Я даже увлеклась вами немножко. Ну, давайте пожмем друг другу руки и разойдемся друзьями. Не поминайте лихом.

Астров (пожал руку). Да, уезжайте... (В раздумье.) Как будто бы вы и хороший, душевный человек, но как будто бы и что-то странное во всем вашем существе. Вот вы приехали сюда с мужем, и все, которые здесь работали, копошились, создавали что-то, должны были побросать свои дела и все лето заниматься только подагрой вашего мужа и вами. Оба – он и вы – заразили всех нас вашей праздностью. Я увлекся, целый месяц ничего не делал, а в это время люди болели, в лесах моих, лесных порослях, мужики пасли свой скот... И так, куда бы ни ступили вы и ваш муж, всюду вы вносите разрушение... Я шучу, конечно, но все же... странно, и я убежден, что если бы вы остались, то опустошение произошло бы громадное. И я бы погиб, да и вам бы... несдобровать. Ну, уезжайте. *Finita la comedia!*

Елена Андреевна (берет с его стола карандаш и быстро прячет). Этот карандаш я беру себе на память.

Астров. Как-то странно. Были знакомы и вдруг почему-то... никогда уже больше не увидимся. Так и все на свете... Пока здесь никого нет, пока дядя Ваня не вошел с букетом, позвольте мне... поцеловать вас... На прощанье... Да? (Целует ее в щеку.) Ну, вот... и прекрасно.

Елена Андреевна. Желаю вам всего хорошего. (Оглянувшись.) Куда ни шло, раз в жизни! (Обнимает его порывисто, и оба тотчас же быстро отходят друг от друга.) Надо уезжать.

Астров. Уезжайте поскорее. Если лошади поданы, то отправляйтесь.

Елена Андреевна. Сюда идут, кажется.

Оба прислушиваются.

Астров. *Finita!*

Входят Серебряков, Войницкий, Мария Васильевна с книгой, Телегин и Соня.

Серебряков (Войницкому). Кто старое помянет, тому глаз вон. После того, что случилось, в эти несколько часов я так много пережил и столько передумал, что, кажется, мог бы написать в назидание потомству целый трактат о том, как надо жить. Я охотно принимаю твои извинения и сам прошу извинить меня. Прощай! (Целуется с Войницким три раза.)

Войницкий. Ты будешь аккуратно получать то же, что получал и раньше. Все будет по-старому.

Елена Андреевна обнимает Соню.

Серебряков (целует у Марии Васильевны руку). Мама...

Мария Васильевна (целуя его). Александр, снимитесь опять и пришлите мне вашу фотографию. Вы знаете, как вы мне дороги.

Телегин. Прощайте, ваше превосходительство! Нас не забывайте!

Серебряков (поцеловав дочь). Прощай... Все прощайте! (Подавая руку Астрову.) Благодарю вас за приятное общество... Я уважаю ваш образ мыслей, ваши увлечения, порывы, но позвольте старику внести в мой прощальный привет только одно замечание: надо, господа, дело делать! Надо дело делать! (Общий поклон.) Всего хорошего! (Уходит.)

За ним идут Мария Васильевна и Соня.

Войницкий (крепко целует руку у Елены Андреевны). Прощайте... Простите... Никогда больше не увидимся.

Елена Андреевна (растроганная). Прощайте, голубчик. (Целует его в голову и уходит.)

Астров (Телегину). Скажи там, вафля, чтобы заодно кстати подавали и мне лошадей.

Телегин. Слушаю, дружок. (Уходит.)

Остаются только Астров и Войницкий.

Астров (убирает со стола краски и прячет их в чемодан). Что же ты не идешь проводить?

Войницкий. Пусть уезжают, а я... я не могу. Мне тяжело. Надо поскорей занять себя чем-нибудь... Работать, работать! (Роется в бумагах на столе.)

Пауза; слышны звонки.

Астров. Уехали. Профессор рад небось! Его теперь сюда и калачом не заманишь.

Марина (входит). Уехали. (Садится в кресло и вяжет чулок.)

Соня (входит). Уехали. (Утирает глаза.) Дай Бог, благополучно. (Дяде.) Ну, дядя Ваня, давай делать что-нибудь.

Войницкий. Работать, работать...

Соня. Давно, давно уже мы не сидели вместе, за этим столом. (Зажигает на столе лампу.) Чернил, кажется, нет... (Берет чернильницу, идет к шкапу и наливает чернил.) А мне грустно, что они уехали.

Мария Васильевна (медленно входит). Уехали! (Садится и погружается в чтение.)

Соня (садится за стол и перелистывает конторскую книгу). Напишем, дядя Ваня, прежде всего счета. У нас страшно запущено. Сегодня опять присылали за счетом. Пиши. Ты пиши один счет, я – другой...

Войницкий (пишет). «Счет... господину...»

Оба пишут молча.



Марина (зевает). Баиньки захотелось...

Астров. Тишина. Перья скрипят, сверчок кричит. Тепло, уютно... Не хочется уезжать отсюда.

Слышны бубенчики.

Вот подают лошадей... Остается, стало быть, проститься с вами, друзья мои, проститься со своим столом и – айда! (Укладывает картограммы в папку.)

Марина. И чего засуетился? Сидел бы.

Астров. Нельзя.

Войницкий (пишет). «И старого долга осталось два семьдесят пять...»

Входит Работник

Работник. Михаил Львович, лошади поданы.

Астров. Слышал. (Подает ему аптечку, чемодан и папку.) Вот, возьми это. Гляди, чтобы не помять папку.

Работник. Слушаю. (Уходит.)

Астров. Ну-с... (Идет проститься.)

Соня. Когда же мы увидимся?

Астров. Не раньше лета, должно быть. Зимой едва ли... Само собою, если случится что, то дайте знать – приеду. (Пожимает руки.) Спасибо за хлеб, за соль, за ласку... одним словом, за все. (Идет к няне и целует ее в голову.) Прощай, старая.

Марина. Так и уедешь без чаю?

Астров. Не хочу, нянька.

Марина. Может, водочки выпьешь?

Астров (нерешительно). Пожалуй...

Марина уходит.

(После паузы). Моя пристяжная что-то захромала. Вчера еще заметил, когда Петрушка водил поить.

Войницкий. Перековать надо.

Астров. Придется в Рождественном заехать к кузнецу. Не миновать. (Подходит к карте Африки и смотрит на нее.) А должно быть, в этой самой Африке теперь жарища – страшное дело!

Войницкий. Да, вероятно.

Марина (возвращается с подносом, на котором рюмка водки и кусочек хлеба). Кушай.

Астров пьет водку.

На здоровье, батюшка. (Низко кланяется.) А ты бы хлебцем закусил.

Астров. Нет, я и так... Затем всего хорошего! (Марине.) Не провожай меня, нянька. Не надо.

Он уходит. Соня идет за ним со свечой, чтобы проводить его; Марина садится в свое кресло.

Войницкий (пишет). «2-го февраля масла постного 20 фунтов... 16-го февраля опять масла постного 20 фунтов... Гречневой крупы...»

Пауза.

Слышны бубенчики.

Марина. Уехал.

Пауза.

Соня (возвращается, ставит свечу на стол). Уехал...

Войницкий (сосчитал на счетах и записывает). Итого... пятнадцать... двадцать пять...

Соня садится и пишет.

Марина (зевает). Ох, грехи наши...

Телегин входит на цыпочках, садится у двери и тихо настраивает гитару.

Войницкий (Соне, проведя рукой по ее волосам). Дитя мое, как мне тяжело! О, если б ты знала, как мне тяжело!

Соня. Что же делать, надо жить!

Пауза.

Мы, дядя Ваня, будем жить. Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других и теперь и в старости, не зная покоя, а когда наступит наш час, мы покорно умрем, и там за гробом мы скажем, что мы страдали, что мы плакали, что нам было горько, и Бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой – и отдохнем. Я верую, дядя, верую горячо, страстно... (Становится перед ним на колени и кладет голову на его руки; утомленным голосом.) Мы отдохнем!

Телегин тихо играет на гитаре.

Мы отдохнем! Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах, мы увидим, как все зло земное, все наши страдания потонут в милосердии, которое наполнит собою

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
весь мир, и наша жизнь станет тихой, нежною, сладкою, как ласка. Я верую, верую...  
(Вытирает ему платком слезы.) Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь... (Сквозь  
слезы.) Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди... Мы  
отдохнем... (Обнимает его.) Мы отдохнем!

Стучит сторож.

Телегин тихо наигрывает; Мария Васильевна пишет на полях брошюры; Марина вяжет чулок.

Мы отдохнем!

Занавес медленно опускается

Примечания

1

Журнал «Русская мысль». 1896. № 12.

Первая постановка: 17 октября 1896 г., Александринский театр.

При жизни А. П. Чехова пьеса была переведена на болгарский, немецкий, сербскохорватский и чешский языки.

2

Дузе Элеонора (1858–1924) – знаменитая итальянская актриса; в 1890-х гг. гастролировала в России.

3

«La dame aux camelias» – «Дама с камелиями», драма А. Дюма-сына (1824–1895), написанная по мотивам одноименного романа.

4

«Чад жизни» – пьеса Б. М. Маркевича (1822–1884).

5

«Во Францию два гренадера...» – романс Р. Шумана на стихи Г. Гейне «Гренадеры» (пер. М. Л. Михайлова).

6

«Не говори, что молодость сгубила...» – романс Я. Ф. Пригожего на слова стихотворения Н. А. Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю».

7

«Я вновь пред тобою стою очарован...» – романс на стихи В. И. Красова (1810–1854) «Опять пред тобой я стою очарован».

8

В Расплюеве был неподражаем, лучше Садовского... – П. М. Садовский (1818–1872) – актер Малого театра, первый исполнитель роли Расплюева в пьесе А. В. Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского».

9

О вкусах – или хорошо, или ничего (лат.).

10

Мой сын! Ты очи обратил... – В. Шекспир, «Гамлет», дейст. III, явл. 3 (пер. Н. А. Полевого).

11

Расскажите вы ей, цветы мои... – начало арии Зибеля из оперы Ш. Гуно «Фауст».

12

Как следует (фр.).

13

Слова, слова, слова... – В. Шекспир, «Гамлет», акт II, явл. 2.

14

Поприщин – персонаж повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего».

15

«Ограбленная почта» – драма Ф. А. Бурдина (1827–1887).

16

Месяц плывет по ночным небесам... – первая строка популярной серенады К. С. Шиловского (1849–1893) «Тигренок».

17

В «Русалке» мельник говорит... – «Русалка» – драма А. С. Пушкина; имеется в виду одноименная опера А. С. Даргомыжского.

18

У Тургенева есть место... – цитата из эпилога романа И. С. Тургенева «Рудин».

19

Журнал «Русская мысль». 1901. № 2.

«Три сестры» – первая пьеса, написанная Чеховым специально для Художественного театра.

Первая постановка: 31 января 1901 г., Художественный театр.

При жизни Чехова пьеса была переведена на итальянский, немецкий и чешский языки.

20

У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том... – из вступления к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

21

...я в мерлехлюндии... – Значение этого слова Чехов пояснял в одном из писем к А. С. Суворину: «...у Вас нервы подгуляли и одолела Вас психическая полуболезнь, которую семинаристы называют мерлехлюндией» (24 августа 1893 г.). Это слово встречается также в рассказе «Следователь», в пьесе «Иванов» (дейст. I, явл. 2) и в письмах Чехова.

22

Он ахнуть не успел, как на него медведь насел... – из басни И. А. Крылова «Крестьянин и Работник».

23

Пьесы. Антон Павлович Чехов chekhovanton.ru  
Сделал, что мог; пусть, кто может, сделает лучше (лат.).

24  
Здоровый дух в здоровом теле (лат.).

25  
Для любви одной природа... – начало «русской арии» (куплетов) Таисии в старинной опере-водевиле «Оборотни» (комическая опера в одном действии, переделанная с французского Петром Кобяковым).

26  
Прошу извинить меня, Мари, но у вас несколько грубые манеры (фр.).

27  
Кажется, мой Бобик уже не спит... (фр.)

28  
О, призрачная надежда людская!.. (лат.)

29  
Истина в вине (лат.).

30  
Любви все возрасты покорны... – строка из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. восьмая, строфа XXIX). В одноименной опере П. И. Чайковского – ария князя Гремина (дейст. III).

31  
Мысль эту можно б боле пояснить, да боюсь, как бы гусей не раздражить... – не вполне точная цитата из басни Крылова «Гуси».

32  
Люблю, любишь, любит, любим, любите, любят (лат.).

33  
Все мое ношу с собой (лат.).

34  
Omnia mea mecum porto... – По преданию, так ответил согражданам один из семи греческих мудрецов Биант, который при нападении персов на Приену (VI в. до н. э.) покинул вместе со всеми город, но отказался захватить что-либо из своего имущества.

35  
...как гоголевский сумасшедший... молчание... молчание... – Повествование Поприщина в «Записках сумасшедшего» Н. В. Гоголя постоянно прерывается фразой: «ничего, ничего... молчание».

36  
Тарара... бумбия... – Запев этой песенки («Тарарабумбия, Сижу на тумбе я, И горько плачу я, Что мало значу я») восходит, видимо, к тексту популярного в свое время «гимна» шансонеток, выступавших в парижском кафе-ресторане Максима.

37

«Молитва девы» – популярная пьеса для фортепьяно польского композитора Т. Бадаржевской–Барановской (1838–1862).

38

А он, мятежный, ищет бури... – из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Парус» (1832).

39

Не шумите, Софи уже спит. Вы медведь (искаж. фр.).

40

У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том... – из вступления к поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».

41

Сборник товарищества «Знание» за 1903 г. кн. 2. Спб., 1904.

Первая постановка: 17 января 1904 г., Художественный театр. На премьере «Вишневого сада» в антракте после 3-го акта состоялось чествование Чехова в связи с 25-летием его литературной деятельности.

При жизни Чехова пьеса была переведена на болгарский язык.

42

Желтого в угол. – В репликах Гаева содержатся выражения, обычно употребляемые во время игры на бильярде.

43

Пачули – сильно пахнущие цветочные духи, изготавливаемые из тропического растения того же названия.

44

Присяжный поверенный – адвокат, состоявший на государственной службе при окружном суде.

45

Заем под векселя – заем под письменное обязательство возвратить деньги в указанный срок.

46

В гордом человеке... – Слова Трофимова о гордом человеке – полемический отклик на монолог Сатина в пьесе А. М. Горького «На дне» (1902), где были слова: «Чело-век! Это – великолепно! Это звучит... гордо!»

47

Брат мой, страдающий брат... – неточное начало стихотворения С. Я. Надсона «Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат...» (1881).

48

...выдь на Волгу, чей стон... – из стихотворения Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» (1858).

49

Променад парами!.. Большой круг, баланс!.. Кавалеры, на колени и благодарите дам (фр.).

50

Раз, два, три! (нем.)

51

Guter Mensch, aber schlechter Musikant (хороший человек, но плохой музыкант; нем.) – крылатое выражение, восходит к комедии Клеменса Брентано «Понс де Леон» (1804).

52

...читает «Грешницу» А. Толстого... – Поэма А. К. Толстого «Грешница» (1858) – о блуднице, прощенной Христом, – была в репертуаре литературных вечеров и пользовалась большой популярностью (как и картина Г. И. Семирадского «Христос и грешница», написанная в 1873 г. на ее сюжет).

53

Поймешь ли ты души моей волненье... – начало романа Н. С. Ржевской (1869).

54

Да здравствует Франция! (фр. Vive la France!)

55

Идите (фр.).

56

Сборник «Пьесы». Спб.: Изд. А. С. Суворина, 1897.

Пьеса возникла в результате переработки комедии «Леший» (1889–1890).

Первая постановка: 26 октября 1899 г., Художественный театр.

При жизни Чехова пьеса была переведена на немецкий и чешский языки.

57

В полную меру (лат.).

58

Вечный двигатель (лат.).

59

У Островского в какой-то пьесе есть человек с большими усами и малыми способностями... – Паратов в «Бесприданнице» А. Н. Островского так представлял себя Карандышеву (дейст. II, явл. 9). Предыдущие слова Астрова («Где уж... куда уж...») напоминают манеру речи Анфисы Тихоновны из другой пьесы Островского – «Волки и овцы».

60

Она прекрасна, спора нет... – У А. С. Пушкина в «Сказке о мертвой царевне и о семи богатырях» зеркальце отвечает царице: «Ты прекрасна, спору нет».

61

Я пригласил вас, господа... – слова городничего в комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (дейст. I, явл. 1).

62 ... manet omnes una nox... – всех ожидает одна ночь (лат.), из оды Горация (кн. 1, ода 28).

Пьесы. Антон Павлович Чехов [chekhovanton.ru](http://chekhovanton.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://chekhovanton.ru/> Приятного чтения!  
<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,  
недвижимость. Здоровый образ жизни.  
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет  
магазин обуви Интернет магазин  
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных  
сайтов. Интеграция, Хостинг.  
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография  
<http://dostoevskiyfyodor.ru/>  
сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!